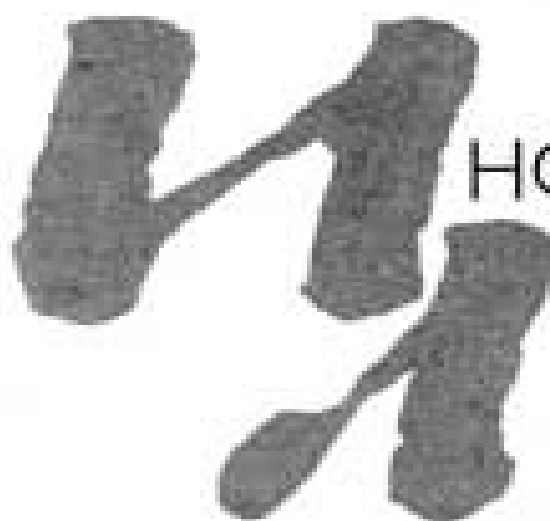


9.1991



НОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



В номере:

МАТИ ТАВАРА
Стихи

МАРЕК ХЛАСКО
Рассказы

**ВИРДЖИНИЯ
ВУЛФ**
*Комната
Джейкоба*

**ДЖОН ЛЕННОН
и ПОЛ
МАККАРТНИ**
Стихи

ОБОЗНАЧЕНИЯ
И ЛИТЕРАТУРА
(Из бесед в редакции)

Annotation

Комната Джейкоба — первый роман, во многом ставший итогом ранних исканий писательницы, синтезирующий особенности ее импрессионистического стиля и открывающий перспективы дальнейшего развития ее творчества.

- [Вирджиния Вулф](#)

- [Предисловие](#)

- [I](#)

- [II](#)

- [III](#)

- [IV](#)

- [V](#)

- [VI](#)

- [VII](#)

- [VIII](#)

- [IX](#)

- [X](#)

- [XI](#)

- [XII](#)

- [XIII](#)

- [XIV](#)

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
-

Вирджиния Вулф
Комната Дэжейкоба

Предисловие

Вирджиния Вулф родилась в 1882 году в одной из самых образованных и рафинированных семей уходящей в прошлое викторианской Англии. Ее отец Лесли Стивен — радикал, вольнодумец, философ, историк, литературовед — был весьма заметной фигурой в общественной и литературной жизни. Разговоры об искусстве были для Вирджинии Стивен такой же повседневностью, как для какого-нибудь другого ребенка шалости или игры. Она выросла среди постоянных споров о литературе, живописи, музыке. Без преувеличения можно сказать, что в доме ее отца решались судьбы английской литературы: здесь получали благословение начинающие писатели, ниспровергались общепризнанные авторитеты. Дух, царивший в семье Стивенсов, сохранился и в новом доме в Блумсбери, лондонском районе художников, музыкантов, писателей, где после смерти Лесли обосновались его дети — Тоби, Адриан и две дочери — Ванесса и Вирджиния. Они-то и составили ядро весьма элитарного кружка или салона, который по месту своего нахождения получил название Блумсбери и которому было суждено сыграть важную роль в развитии искусства XX века.

Частыми гостями здесь были Т. С. Элиот, философ Бертран Рассел, романист Э. М. Форстер, журналист Леонард Вулф, который в 1912 году стал мужем Вирджинии. Новичку, впервые попавшему на вечеринку в Блумсбери, могло сделаться не по себе. Молодому Дэвиду Герберту Лоуренсу в какой-то момент показалось, что он сходит с ума от нескончаемых бесед, за которыми коротали время завсегдатаи Блумсбери, отточившие свои умы и языки в ежевечерних словесных баталиях. Говорили вроде бы о пустяках, но как-то незаметно и естественно беседа переходила на только что открывшуюся в Лондоне выставку импрессионистов, вызвавшую у старшего поколения, воспитанного на академической живописи, взрыв негодования, а здесь, в Блумсбери, встреченную с восторгом. Здесь знали назубок работы психолога Уильяма Джемса, с легкой руки которого в литературный обиход, а постепенно и в литературную практику вошло понятие «потока сознания». Здесь зачитывались Фрейдом и Юнгом. По этим новым теориям получалось, что область подсознательного, интуиции не менее важна, чем сфера сознательного, материальное бытие. Ведь в этих областях человеческой жизни скрыты импульсы, неосуществленные желания, здесь бытуют некие

неизменные структуры и модели поведения, роднящие человека XX века с его древними предками.

Другим интеллектуальным кумиром в среде блумсберийцев был французский философ Анри Бергсон, который решительно отверг в своих работах механистическо-рационалистический подход к бытию и предложил совершенно новое понимание времени. Время, полагал Бергсон, как и сознание, невыделяемо, нелинейно, оно — длительность, оно обратимо вспять, полностью не познаваемо, но лишь интуитивно прозреваемо.

Были у блумсберийцев и свои литературные пристрастия. Они почитали Стерна и Монтеня, но их губы складывались в презрительную улыбку, когда кто-нибудь при них с похвалой отзывался об Арнольде Беннете, Герберте Уэллсе или же Голсуорси — иными словами о традиционалистах, которые, как говорили в запале спора эти молодые люди, способны передавать в своих книгах только видимость жизни. Суть же ускользает от них. Явить миру Великую Сложность и было призвано новое, революционное, дерзкое, по меркам того времени, искусство блумсберийцев и их духовных соратников.

Именно поэтому в их произведениях реальная, доступная привычному взгляду оболочка вещей взрывается, ко всему разумному, поддающемуся простому научному толкованию они относятся с недоверием, но делают упор на достижение метафизического смысла явления.

Сейчас, когда открытия Вирджинии Вулф давно уже освоены современной западной прозой и постепенно благодаря снятию запретов осваиваются и нашими отечественными прозаиками, трудно себе представить, какой взрыв негодования у приверженцев классической прозы вызвали ее первые произведения, к числу которых можно отнести и роман «Комната Джейкоба» (1922). Это третий роман Вулф, но по сути своей первый по-настоящему «вулфовский» роман.

Готовясь к созданию «Комнаты Джейкоба», Вулф записала в дневнике: «Я принялась за эту книгу, надеясь, что смогу выразить в ней свое отношение к творчеству... Надо писать из самых глубин чувства — так учит Достоевский...».

Хотя внешне каноны сюжетно-фабульного повествования соблюдены, на самом деле роману не хватает именно традиционной событийности. Собственно событий, как их понимала поэтика старого добротного классического романа, здесь нет вообще. Повествование, если это слово передает то, что происходит в романе, существует на двух уровнях. Первый, хотя и не отчетливо событийный, — внешний, материальный.

Второй, главный — тот, что существует вне реального времени. В этом мире нам приоткрывается Великая Сложность — жизнь души, памяти, снов, чувствований, предчувствий, интуиции.

В обычном, принятом смысле слова роман вообще нельзя назвать романом. Здесь нет никакой определенности — географической, повествовательной, — нет привычных героев. Все намеренно зыбко, сознательно импрессионистично. Наверное, можно сказать, что в этом романе предпринята попытка описать жизнь с помощью «потока сознания».

Вопрос о влиянии «Улисса» Джойса возникает почти всегда, когда речь заходит об описании внутренней, сокровенной жизни в книгах Вирджинии Вулф. Впервые с «Улиссом» Вулф познакомилась еще в 1918 году, когда эпизоды романа печатались на страницах журнала «Литтл ревью». Естественно, что искусство Джойса бурно обсуждалось в среде блумсберийцев. То, что Джойс оказал на Вирджинию Вулф воздействие, и немалое — несомненно. Писательницу не могло не заинтересовать конечное стремление Джойса «вырвать секрет у жизни», сказать «общечеловеческую правду». Ей, конечно, были важны как мастеру технические приемы повествовательного искусства Джойса. Но считать Вулф последовательницей Джойса, его ученицей вряд ли возможно. Титанизм, гигантомания искусства Джойса, образный и словесный монументализм, так масштабно проявлявшийся в объеме его книги, мифотворчестве, структуре и системе символов-лейтмотивов, претили писательнице, которая при всем ее новаторстве развивалась в утонченной традиции психологического искусства английского романа, уходящего своими корнями в книги Стерна, Джейн Остен, позднего Теккерея.

Для историка литературы это произведение особенно интересно тем, что оно погранично — Вирджиния Вулф еще в чем-то крепко связана с традицией великого романа XIX века, с его выверенной повествовательной техникой. Но, с другой стороны, пуповина уже надорвана. Писательница всеми силами стремится сделать шаг к воплощению Истины. А истина эта неуловима, изменчива и всячески противится рациональному анализу.

Но не надо при этом думать, что вместо реальной, полнокровной жизни читателю предлагается метафизическое «нечто». Жизнь, «обожжаемый мир», как говорила Вулф о море, детях, плывущем ранним утром пароходе, летнем дожде, весеннем саде — расцветает десятками красок в ее романе.

У Вулф, как и у всякого писателя, были свои излюбленные темы. Она, сама не знавшая радости материнства, много писала о детях, наверное,

потому, что детство — время, когда душа еще не успела скрыться от мира под одеждами воспитания, приличий.

В «Комнате Джейкоба» наметились и границы мира Вирджинии Вулф, круг тем, которые с определенными вариациями повторяются во всех ее романах и которые не потеряли своего значения и сегодня — проблемы брака, женской судьбы, понятые и осмысленные в социальном и философском контексте, поиски женщиной своего места в семье, обществе, мироздании, воспитание детей, взаимоотношения с мужчиной, вечное единоборство и желанный, но такой трудный союз с ним, жажда самовыражения.

«Комнату Джейкоба» можно назвать огромным стихотворением в прозе — столь поэтичен мир, возникающий на страницах этой книги, столь хрупки описания детства, столь трепетно мерцание характера, который потому и получается в конечном итоге цельным, что автор всеми доступными его искусству способами сторонится решительного последнего мазка.

К моменту написания «Комнаты Джейкоба» цель и идеал искусства были ясны Вирджинии Вулф — изгнать традиционализм, линейное, сюжетное повествование, заменив его остановленными в слове моментами бытия, вспышками ощущений. И все же в «Комнате Джейкоба» в потоке текущей, длящейся эмоции мы нет-нет да натолкнемся на вполне традиционные, по законам самой же Вулф совершенно невозможные в такой прозе описания; встречается нам и авторский комментарий, на который теоретически писательницей было наложено строжайшее вето. Причем этот комментарий распространяется не только на факты жизни, но и на самое святое в этой прозе — характер. Более того, несколько раз Вулф — может быть, не отдавая себе отчета, — вставляет в книгу, совсем как Филдинг, эссе-размышления о трудностях писательского ремесла, о собственных творческих поисках.

В центре романа — мальчик, затем юноша Джейкоб Фландерс. Нам предложено познать мир не через рассказ о мире и о событиях в нем, но через наше познание и узнавание самого Джейкоба. Метод познания — не только мысли и эмоции Джейкоба, но также — и это, пожалуй, главное — отражение его индивидуальности, его характера в сознании людей, окружающих его, встречающихся случайно на его коротком жизненном пути. Каждое такое впечатление, взятое отдельно, самоценно. Однако, соединившись вместе, они не создают зеркала. Цельная картина пока не складывается. Одни лица кажутся неправоммерно большими, другие почему-то еле различимы. И, видимо, из-за этого роман крошится,

распадается на эпизоды. Ему пока не хватает внутреннего единства, и первопричина в том, что автор практически у нас на глазах пытается вытравить из своей поэтики традиционные приемы классического повествования. Но, отказавшись от накатанной дороги («Это случилось тогда-то, при таких-то обстоятельствах, в городе N...»), Вулф еще не ведает, как передать в слове мириады ощущений, впечатлений, которые сосуществуют, сталкиваясь и противореча друг другу. Ведь материал прозы остается прежним — детали быта, жизненные коллизии, слова, в которые облекаются наши поступки и чувства. Меняется сам принцип их подачи в произведении, а следовательно, должна измениться роль автора. Автор должен создать эффект отсутствия. Но для этого ему необходимо точно определить, а может быть, математически рассчитать, какой же будет его художественная позиция — она ведь станет тем цементирующим раствором, который скрепит мозаику бытия.

Даже название романа показывает, как Вулф ищет эту новую позицию. В классическом романе в заглавие любили выносить такие ключевые слова и понятия, как «приключения», «странствия», «путешествия», «история»... Психолог Стерн решил взглянуть на мир через особое путешествие — сентиментальное и через мнения и суждения своего героя. С точки зрения традиционной поэтики, он сузил границы мира, но, с точки зрения искусства нового времени, он несравненно расширил возможности изображения личности.

Вулф предлагает взглянуть на мир из комнаты. И, конечно, это позиция, это принципиально. Причем она отнюдь не всегда смотрит на мир из окна — чаще устроившись в кресле, присев на стул или удобно расположившись за письменным столом, внимательно изучает внутреннее убранство и внутреннее состояние жилища. В предметах отразился характер Джейкоба, все они несут на себе печать его личности. В самом же Джейкобе отражается весь необъятный мир.

Комната «перемещается» за Джейкобом по белу свету, вмещает в себя историю его детства, становления, душевного разлада и борений, влюбленностей, его смерти. Традиционный «роман воспитания» приобретает новые черты.

Вирджиния Вулф рано оставила мир. Ее самоубийство в 1941 году стало следствием и тяжелой душевной болезни, с юности преследовавшей писательницу, и страха перед надвигающейся войной, которую она, дитя утонченной западной цивилизации, восприняла как конец культуры и крах разума.

Большому писателю, как известно, дано предвидеть, пусть в

неопределенных эмоциональных формах, свой конец и уход. Смерть — постоянная тема в произведениях Вулф. Но смерть — тема очень трудная. Надо быть таким пронзительно сентиментальным, как Чарльз Диккенс, чтобы не бояться этой темы и заставить рыдать над маленькой Нелл не одно поколение читателей, или таким гениальным психологом, как Л. Н. Толстой, чтобы передать весь ужас, величие, драму угасания Ивана Ильича.

По-иному изображена смерть у Вирджинии Вулф. Немало жизней уносит поток времени в «Комнате Джейкоба». Каждая смерть — убывание всей жизни. Смерти никогда не проходят незаметно. Но смерть у Вулф погружена в самую сердцевину быта. Она живет в череде будней, житейской прозы. В этом ее особый драматизм и особая ее правда. За смертью Джейкоба стоит целая страница в истории Европы, его судьба — это нерассказанная повесть о поколении, унесенном бессмысленной бойней. Об этом сказано в нескольких фразах, полунамеком. Читателю предлагается все додумать самому.

Иногда «Комнату Джейкоба» хочется сравнить с «Гамлетом», но таким, в котором всем персонажам, в том числе и второстепенным, предоставлена возможность произнести монолог «Быть или не быть». Пока персонажи на сцене, мы с интересом внимаем им. Но вот они покинули подмостки, и мы силимся вспомнить — а о чем они говорили? Хотя в них, по замыслу писательницы, должна биться сама жизнь, им-то подчас и не хватает огня жизни. Огонь искусства уходит в строительство новой конструкции.

И все же художественные просчеты Вирджинии Вулф в «Комнате Джейкоба» в известной степени не менее интересны, а для истории литературы не менее существенны, чем ее новаторские достижения. Просчеты Вулф, очевидные с высот ее собственного зрелого искусства в романах «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк», — этапы развития становления, мужания психологической прозы XX столетия, родоначальницей и мастером которой была создательница «Комнаты Джейкоба».

Е. Гениева.

«Так что, конечно, — написала Бетти Фландерс, вдавливая каблук поглубже в песок, — оставалось только уезжать». Медленно стекая с кончика золотого пера, бледно-голубые чернила расплывались в точку, потому что здесь ручка замерла, глаза уставились в пространство и медленно наполнились слезами. Залив затрепетал, маяк покачнулся, и ей показалось, что мачта маленькой яхты мистера Коннора накренилась, как восковая свечка на солнце. Она быстро сморгнула. Только бы ничего не случилось. Она сморгнула снова. Мачта выпрямилась, волны бежали ровно, маяк был на месте, но клякса расплзлась.

«...оставалось только уезжать», — прочитала она.

— Ну, если Джейкоб не хочет играть (на бумагу легла тень Арчера, ее старшего сына, на песке она казалась синеватой, и стало зябко — было уже третье сентября), если Джейкоб не хочет играть... — какая жуткая клякса! Уже, наверное, поздно.

— Да где же этот непослушный мальчишка? — сказала она. — Что-то его не видно. Сбегай разыщи его. Скажи, чтобы немедленно пришел. — «...но, слава богу, — торопливо написала она, не обращая внимания на точку, — все, кажется, устроилось благополучно, хоть мы и теснимся здесь как селедки в бочке, да еще приходится тут же ставить детскую коляску, чего хозяйка, естественно, не позволяет...»

Такие письма писала Бетти Фландерс капитану Барфуту — бесконечные, закапанные слезами. Скарборо в семистах милях от Корнуолла — капитан Барфут в Скарборо — Сибрук умер... От слез георгины у нее в саду постоянно плыли красными волнами, стекло теплицы вспыхивало перед глазами, а в кухне блестели ножи, и когда в церкви звучал псалом и миссис Фландерс низко склонялась над головами своих мальчиков, миссис Джарвис, жена пастора, думала, что брак — это крепость, а вдовы одиноко блуждают в чистом поле, подбирая камни и редкие золотые соломинки, обездоленные, беззащитные, несчастные существа. Миссис Фландерс уже два года была вдовой.

— Джей-коб! Джей-коб! — кричал Арчер.

«Скарборо», — написала миссис Фландерс на конверте и жирно подчеркнула, это был ее родной город, главное место на земле. Но где же

марка? Она порылась в сумочке, вытряхнула ее содержимое, затем пошарила в складках платья — и все так стремительно, что Чарльз Стил в своей панаме замер с кистью в руке.

Точно усики какого-нибудь разъяренного насекомого, кисть прямо-таки дрожала. Женщина с чего-то вздумала двигаться — да кажется, собирается встать, черт ее побери! Он поспешно нанес на холст темно-лиловый мазок. Этого требовал пейзаж. Слишком он был бледен — серое, переходящее в голубое, и одна не то звезда, не то белая чайка, парящая просто так, — слишком бледно, по обыкновению. Слишком бледно, скажут критики, потому что никто его не знает и на выставках он незаметен — любимец детей квартирных хозяек, с крестом на цепочке для часов, чрезвычайно польщенный, если его картины нравятся самим хозяйкам — что бывает не так редко.

— Джей-об! Джей-коб! — кричал Арчер.

Стил, при всей своей любви к детям, раздражался от крика, нервно тыкал кистью в темные кружочки на палитре.

— Я твоего брата видел... Видел я твоего брата, — произнес он, кивая головой, когда Арчер брел мимо него, волоча лопатку и бросая сердитые взгляды на старика в очках.

— Там, у скалы, — держа кисть в зубах, пробормотал Стил и выдавил охру, не сводя глаз со спины Бетти Фландерс.

— Джей-коб! Джей-коб! — закричал Арчер через секунду, бредя дальше.

В голосе была удивительная печаль. Освобождаясь от плоти, от страстей, он выходил в мир, одинокий, безответный, бьющийся о скалы, — вот как звучал этот голос.

Стил хмурился, но был доволен тем, как легло черное — то самое, чего не хватало, чтобы все связать воедино. «Ах, можно стать живописцем и в пятьдесят лет. Тициан, например...» — и тут, найдя нужный оттенок, он взглянул вверх и, к своему ужасу, увидел над заливом тучу.

Миссис Фландерс поднялась, хлопнула по пальто с обеих сторон, чтобы стряхнуть песок, и взяла свой черный зонтик.

Скала была из тех необычайно твердых, бурых, почти черных скал, которые торчат из песка словно что-то первобытное. Скала — шершавая от ребристых ракушек и кое-где покрытая пучками высохших морских

водорослей, так что маленькому мальчику приходится широко расставлять ноги, и он не раз покажется себе самым настоящим героем, пока доберется до вершины.

Но там, на самой вершине, — впадина с песчаным дном, полная воды, в ней медуза, комочком прилипшая сбоку, и несколько мидий. Рыбка метнулась в воде. Желто-коричневые водоросли колышутся, из них выползает краб в опаловом панцире...

— Какой огромный краб, — прошептал Джейкоб.

...и на тоненьких ножках отправляется в путешествие по песчаному дну. Ну-ка! Джейкоб опустил руку в воду. Краб был прохладный и очень легкий. А в воде полно песка, и вот, прижимая к себе ведро, Джейкоб сполз вниз и собирался уже спрыгнуть, как вдруг увидел, что на земле совершенно неподвижно лежат рядом огромные мужчина и женщина с очень красными лицами.

Огромные мужчина и женщина (в этот день все заканчивали работу рано) лежали рядом, не шевелясь, положив головы на носовые платки, в двух шагах от моря, а несколько чаек легко промахнули над набегаящими волнами и уселись около их ног.

Большие красные лица на ярких носовых платках в горошек уставились на Джейкоба снизу вверх. Джейкоб сверху вниз уставился на них. Затем, бережно прижимая к себе ведро, Джейкоб осторожно спрыгнул и побежал прочь, поначалу так, словно ничего не случилось, но все быстрее и быстрее, по мере того как волны, пенясь, подступали к нему и ему приходилось сворачивать, чтобы спастись от них, и чайки поднялись прямо перед ним, и пронеслись вперед, и снова уселись чуть поодаль. На песке сидела большая черная женщина. Он побежал к ней.

— Няня! Няня! — кричал он, всхлипывая, судорожно глотая воздух на каждом слове.

Волны накатывали на нее. Она была скалой. Ее покрывали водоросли, которые лопаются с треском, когда на них нажимаешь. Он заблудился.

Так он и стоял. Лицо его искривилось. Он совсем готов был зареветь, как вдруг у отвесной скалы среди черных палок и соломы увидел череп — может быть, коровий, может быть, даже с зубами. Всхлипывая, но уже машинально, он бежал все дальше и дальше по берегу, и вскоре череп оказался у него в руках.

— Вот он! — воскликнула миссис Флиндерс, обойдя скалу и мгновенно оглядев все пространство пляжа. — Что он там схватил? Положи это, Джейкоб! Брось сию же секунду! Наверняка какая-нибудь

гадость. Почему ты убежал от нас? Противный мальчишка! Ну, положи это. Пойдемте оба. — И она повернулась, держа Арчера одной рукой и нащупывая руку Джейкоба другой. Но он ускользнул и подобрал отвалившуюся овечью челюсть.

Размахивая сумочкой, сжимая зонтик, держа Арчера за руку и рассказывая историю о том, как однажды взорвался порох и бедный мистер Керноу остался без глаза, миссис Фландерс быстро поднималась по крутому склону, ощущая все время в глубине души какую-то смутную тревогу.

Там, на песке, неподалеку от любовников, остался старый овечий череп без челюсти. Чистый, белый, натертый песком и отполированный ветром, — на всем побережье Корнуолла не найти больше таких ослепительных костей. Морская трава прорастет сквозь глазницы, он раскрошится, или в один прекрасный день кто-нибудь, играя в гольф, ударит по мячу и рассеет горстку праха. «Нет, ну не в чужом же доме», — подумала миссис Фландерс. Очень рискованно уезжать так далеко с маленькими детьми. Нет мужчины, некому помочь с коляской. И с Джейкобом наказание — уже все делает по-своему.

— Выбрось это, милый, пожалуйста, — сказала она, когда они вышли на дорогу, но Джейкоб увильнул от нее; подымался ветер, и она вытащила булавку из шляпы, поглядела на море и воткнула ее наново. Подымался ветер. В волнах ощущалось беспокойство, как живые существа, они упрямилась и ждали кнута, волновались перед бурей. Рыбачьи лодки кренились к самой воде. Бледно-желтый свет прорезал лиловое море и погас. Зажегся маяк. — Пойдемте, — сказала Бетти Фландерс. Солнце било им в лица и золотом покрывало дрожащие в живой изгороди огромные черные ягоды ежевики, которые Арчер пытался сорвать на ходу.

— Мальчишки, не отставайте. Вам не во что переодеться, — сказала Бетти, таща их за собой и с беспокойством оглядывая землю, ставшую такой ослепительной от внезапных вспышек света в стеклах садовых теплиц, от непрерывной смены желтого и черного, от пылающего заката и удивительного возбуждения и напряженности цвета, которые волновали Бетти Фландерс и заставляли ее думать о своей ответственности и нависшем несчастье. Она схватила Арчера за руку. Дальше надо было взбираться на холм.

— О чем я тебя просила мне напомнить? — спросила она.

— Не знаю, — сказал Арчер.

— Ну и я не знаю, — сказала Бетти легко и весело, и кто станет отрицать, что такой вот рассеянностью, а также щедростью, природным

чутьем, бабьими суевериями, безрассудствами, мгновениями удивительной отваги, ощущением смешного и сентиментальностью, — кто станет отрицать, что именно этим всякая женщина симпатичнее любого мужчины?

Вот, например, Бетти Фландерс.

Она взялась за садовую калитку.

— Мясо! — вскрикнула она, со стуком отодвигая щеколду.

Она забыла про мясо.

В окне показалась Ребекка.

Скудость обстановки гостиной в доме миссис Пирс стала особенно заметна в десять часов вечера, когда на середину стола поставили керосиновую лампу. Резкий свет озарил сад, пересек лужайку, выхватил из темноты детское ведерко и фиолетовую астру и остановился у изгороди. Миссис Фландерс забыла шитье на столе. Там лежали ее очки в стальной оправе, большие катушки белых ниток, игольник и коричневая шерсть, намотанная, на старую открытку. Валялись камышины и номера «Стрэнда», а линолеум был в песке от детских башмаков. Долгоножка пронеслась из угла в угол и ударилась о лампу. Ветер хлестал по окнам крупными каплями, и, попадая на свет, они вспыхивали серебром. Торопливо, настойчиво бился о стекло одинокий листок. На море был ураган.

Арчер не мог заснуть.

Миссис Фландерс наклонилась над ним. — Представь себе фей, — сказала Бетти Фландерс. — Представь себе красивых-красивых птичек, как они уютно устраиваются в гнездышках. Закрой глазки и увидишь птичку-маму с червячком в клюве. Ну, повернись и закрой глазки, — прошептала она, — закрой глазки.

Дом был наполнен звуками льющейся, булькающей воды; вода выливалась из переполненного бака, пузырилась, пицала, неслась по трубам и струилась по оконным стеклам.

— Куда это столько воды льется? — шепотом спросил Арчер.

— Это просто вытекает вода из ванны, — ответила Бетти Фландерс.

На улице что-то лязгнуло.

— Послушай, а этот пароход не утонет? — спросил Арчер, открывая глаза.

— Конечно нет, — сказала Бетти Фландерс, — капитан давно спит. Закрой глазки и представь себе фей, они крепко-крепко спят, а над ними растут цветы.

— Думала, он не уснет сегодня — такой ураган, — шепотом сказала она Ребекке, которая склонилась над спиртовкой в соседней маленькой комнате. На улице бушевал ветер, а маленькое пламя спиртовки горело ровно, заслоненное от кровати книжкой, стоящей на боку.

— Он все съел, что было в рожке? — спросила шепотом миссис Фландерс, и Ребекка кивнула, подошла к кровати и отвернула покрывало, а миссис Фландерс нагнулась и с тревогой посмотрела на ребенка, который спал, но хмурился во сне. Окно затряслось, и Ребекка прокралась как кошка и затворила его покрепче. Две женщины шептались над спиртовкой, плетя вечный заговор тишины и чистых рожков, а ветер неистовствовал и вдруг с силой рванул непрочную задвижку.

Обе оглянулись на кровать. Губы у них были поджаты. Миссис Фландерс направилась к кровати.

— Спит? — спросила Ребекка шепотом, глядя на кровать.

Миссис Фландерс кивнула.

— Спокойной ночи, Ребекка, — шепотом сказала миссис Фландерс, и Ребекка в ответ назвала ее «мадам», хотя они и были заговорщицами, плетущими вечный заговор тишины и чистых рожков.

Миссис Фландерс забыла погасить лампу в гостиной. Там были ее очки, шитье, конверт со штемпелем «Скарборо». И шторы она не задернула.

Яркий свет заливал полосу травы, захватывая и зеленое ведро с золотым ободком, и отчаянно дрожащую астру рядом с ним. Ветер рвался по побережью, с силой набрасываясь на холмы, внезапными порывами обрушиваясь на себя самого. Как он разошелся над городом в низине! Как мигали и дрожали от его ярости огни, огни в гавани, огни в окнах спален наверху! И, катя перед собой темные волны, он мчал через Атлантику, швыряя туда-сюда звезды над кораблями.

В гостиной щелкнуло. Мистер Пирс потушил лампу. Сад погас. Все ушло во тьму. На каждый дюйм земли лил дождь. Каждая травинка сгибалась от дождя. Под тяжестью дождя не могли бы подняться и веки. Лежащий на спине не увидел бы ничего, кроме сумятицы и неразберихи — ворочающихся туч и чего-то желтоватого и сернисто-зеленого в темноте.

Мальчики в спальне скинули одеяла и лежали под простынями. Было жарко, как-то влажно и парно. Арчер лежал, разметавшись, отбросив руку на подушку. Он раскраснелся, и когда тяжелая штора слегка поднялась от ветра, повернулся и приоткрыл глаза. Ветер задел еще и салфетку на

комоде и впустил немного света, так что стал виден острый угол комода, прямо поднимающийся вверх до того места, где выступало что-то белое, а в зеркале показалась серебряная полоска.

В другой постели, у двери, спал Джейкоб, спал крепко, в полном забытьи. Овечья челюсть с большими желтыми зубами лежала у него в ногах. Он отпихнул ее к железной спинке кровати.

За окном ветер под утро стих и еще ровнее и сильнее полил дождь. Астру прибило к земле. Ведерко было до половины наполнено дождевой водой, и краб в опаловом панцире медленно кружил по дну слабыми ножками, пробуя вскарабкаться по крутой стенке; он пробовал снова, и срывался, и пробовал снова и снова.

II

— Миссис Фландерс. — Бедная Бетти Фландерс. — Милая Бетти. — Она и сейчас еще очень привлекательна. — И почему она больше замуж не выходит? — Да из-за капитана Барфута, конечно. Как среда, так он у нее — точнехонек, хоть часы проверяй, — а жену небось с собой не берет!

— Ну тут уж Эллен Барфут сама виновата, — говорили дамы Скарборо. — Она ни у кого не бывает.

— Мужчине сын нужен — давно известно.

— Некоторые опухоли вырезают, но с такой, как была у мамы, мучаются годами, и никто при этом тебе чай в постель не подает.

(Миссис Барфут была прикована к креслу.)

Элизабет Фландерс, о которой это и многое другое говорилось и будет еще говориться, была, конечно, вдовой в расцвете лет. Она находилась на середине пути между сорока и пятьюдесятью. Годы, пронизанные горем, смерть мужа — Сибрука, трое сыновей, нужда, домик на окраине Скарборо, катастрофа, а может быть, и гибель брата, бедного Морти, — ведь не знаешь, где он? что с ним? Заслонив глаза от солнца рукой, она глядела на дорогу в ожидании капитана Барфута — да, вот он появился, пунктуальный, как всегда; ухаживание капитана — все это привело Бетти Фландерс к зрелости, округлило ее фигуру, придало лицу оживленности и наполняло глаза слезами без всякой видимой причины по три раза на день.

Разумеется, нет ничего дурного в том, чтобы оплакивать мужа, и надгробие, хоть и простое, сделано было основательно, и когда в летние дни вдова приводила к нему сыновей, ей сочувствовали. Шляпы приподнимались выше обычного, жены дергали мужей за рукав. Сибрук лежал на глубине в шесть футов, мертвый все эти годы, защищенный тремя панцирями, все щели в которых были залиты свинцом, так что если бы земля и дерево были прозрачны, там, глубоко внизу, можно было бы несомненно разглядеть даже его лицо, правильные черты, бакенбарды, лицо молодого человека, который отправился на утиную охоту, а потом не переобулся.

«Коммерсант» — гласило надгробие, хотя почему Бетти Фландерс решила назвать его именно так, когда многие еще помнили, что он просидел за окошком в конторе всего-навсего три месяца, а до того заездил несколько лошадей, охотился с гончими, немножко занимался хозяйством

и немножко прожигал жизнь, — ну, должна же она была его как-нибудь назвать. Мальчикам в назидание.

Что же, значит, он был ничтожеством? Вопрос, на который не может быть ответа, потому что, если бы даже не существовало обычая закрывать усопшим глаза, свет в них и так меркнет очень скоро. Сперва — часть ее самой, теперь — один из многих, он слился с травой, покатым склоном холма, тысячей белых каменных надгробий, покосившихся и прямых, увядшими венками, крестами из зеленой жести, узкими дорожками и сиренью, которая в апреле, источая запах, напоминающий о комнате больного, перевешивается через кладбищенскую стену. Сибрук стал теперь всем этим, и когда, подоткнув юбку и засыпая корм курам, она слышала колокольный звон, возвещающий о службе или похоронах, — это был голос Сибрука, голос умершего.

Как-то раз петух взлетел ей на плечо и клюнул в шею, и с тех пор, собираясь кормить птиц, она брала с собой палку или звала кого-нибудь из детей.

— Мама, хочешь, возьми мой ножик, — сказал Арчер.

Голос сына, звучащий одновременно с колоколом, смешивал жизнь и смерть, нерасторжимо, ликующе.

— Какой у тебя большой ножик! — сказала она. Она взяла нож, чтобы доставить ему удовольствие. Тут петух вылетел из курятника, и, крикнув Арчеру, чтобы он закрыл калитку в огород, миссис Фландерс засыпала корм, поцокала языком, сзывая кур, и поспешила прочь, а снизу ее увидела миссис Крэнч, которая выбивала об стену коврик и на секунду замерла с ним в руках, говоря своей соседке миссис Пейдж, что миссис Фландерс кормит в саду кур.

Миссис Пейдж, миссис Крэнч и миссис Гарфит могли видеть миссис Фландерс в саду, потому что сад был огороженной частью холма Додс, а холм Додс возвышался над всей деревней. Никакими словами не передать значение холма Додс. Это была сама земля, мир, раскинувшийся под небом, горизонт для множества взглядов, которые лучше всех сочтет тот, кто всю жизнь прожил в деревне, уйдя из нее один только раз на Крымскую войну, как старый Джордж Гарфит, что курит свою трубочку, облокотясь на калитку. По холму определялось движение солнца; по краскам, проступавшим за ним, решали, каким будет день.

— А сейчас пошла наверх с маленьким Джоном, — сказала миссис Крэнч миссис Гарфит и, в последний раз встряхнув коврик, поспешила в дом.

Открыв садовую калитку, миссис Фландерс отправилась вверх по

холму, ведя Джона за руку. Арчер и Джейкоб то убегали вперед, то отставали, и когда она, наконец, поднялась, они были уже в римской крепости и кричали оттуда, какие корабли виднеются в заливе. А сверху в самом деле открывался замечательный вид — сзади вересковые пустоши, впереди море, и весь Скарборо от одного конца до другого лежит как на ладони, похожий на загадочную картинку. Миссис Фландерс, которая начинала полнеть, уселась в крепости и огляделась.

Она уже, наверное, знала назубок всю палитру изменений этого вида; каким он бывал зимой, каким весной, летом, осенью; как с моря налетали штормовые ветры; как дрожал вереск и как светлел, когда тучи проходили; ей сверху, вероятно, видны были красные участки, где строились дачи, и пересекающиеся границы наделов, и алмазные вспышки маленьких теплиц на солнце. Или если такие подробности ускользали от ее внимания, она могла бы позволить воображению разыгаться у золотого на закате моря и представить себе, как оно выплескивает на гальку множество золотых монет. Прогулочные шляпки погружались в золото; черная рука пирса тянула его в свой тайник. Весь город был розовый и золотой; многокупольный; покрытый дымкой; гулкий; стрекочущий. Тренькали банджо; на берегу пахло смолой, к которой липли каблуки; толпу внезапно прорезали козлики, впряженные в повозки с детьми. Большой удачей муниципалитета считалась разбивка клумб. Иногда улетала соломенная шляпка. Тюльпаны пламенели на солнце. Рядами лежали летние брюки. Лиловые чепцы обрамляли нежные, розовые недовольные лица, покоящиеся на подушках в инвалидных колясках. Мужчины в белых сюртуках катили треугольные тумбы с афишами. Капитан Джон Боуз поймал акулу невероятных размеров. Одна сторона треугольной тумбы оповещала об этом красными, синими и желтыми буквами, и каждая строчка заканчивалась тремя разноцветными восклицательными знаками.

Так вот зачем спускались в Аквариум, где выцветшие шторы и въевшийся запах соли, и бамбуковые стулья, и столики с пепельницами, и снующие туда-сюда рыбки, и служительница с вязаньем, перед которой стояло шесть-семь коробок шоколадных конфет (ведь ей часто приходилось буквально часами сидеть одной с рыбами), — все это оставалось в памяти как часть невероятной акулы, которая сама по себе оказывалась просто желтой дряблой громадиной, похожей на плавающий в воде кожаный саквояж. Аквариум никому не нравился, но тускло-разочарованные лица тех, кто выходил оттуда, преображались, едва выяснялось, что, если хочешь попасть на пирс, надо становиться в очередь. Миновав турникеты, они некоторое время двигались очень быстро, а затем

одни застывали у одного ларька, другие — у другого. Но в конце концов, всех собирал оркестр, даже рыболовы на нижнем пирсе старались встать так, чтобы слышать музыку.

Оркестр играл в мавританской беседке. На доске выскочила цифра «девять». Это был вальс. Бледные девушки, пожилая вдова, три еврея, живущие в одном пансионе, денди, майор, торговец лошадьми и господин со значительными средствами слушали его с одинаковым размытым, упоенным выражением, а у их ног сквозь щели в деревянном настиле видны были зеленые летние волны, которые безмятежно, ласково колыхались у железных столбов пирса.

А ведь было время, когда ничего этого не существовало (думал молодой человек, облокотившийся на перила). Смотрим только на дамскую юбку — хотя бы вот на эту, — серую над розовыми шелковыми чулками. Она меняется — доходит до самых лодыжек — девятностые годы, затем расширяется — семидесятые, теперь она отделана красным и натянута на кринолин — шестидесятые, выглядит лишь крохотный черный башмачок на белом нитяном чулке. Она еще тут? Да — сидит на пирсе. Теперь по шелку пущен узор из розочек, но стало как-то хуже видно. Под нами нет пирса. Тяжелая колесница движется по дороге с заставами, но пирса нет, остановиться ей негде, а какое серое и бурное море в семнадцатом веке! Заглянем в музей. Пушечные ядра, наконечники стрел, римское стекло и щипцы, позеленевшие от времени. Преподобный Джаспер Флойд нашел их, проводя на собственные средства раскопки в римском лагере на холме Додс в начале сороковых годов, — это сообщает маленькая табличка с потускневшей надписью.

Так, ну а что еще стоит посмотреть в Скарборо?

Миссис Фландерс сидела на возвышении в римском лагере и латала брюки Джейкоба, поднимая глаза от шитья лишь тогда, когда слюнила кончик нитки или когда какое-нибудь насекомое, ударившись о нее, жужжало ей в самое ухо и исчезало.

Джон то и дело подбегал и вываливал ей на колени траву и засохшие листья, которые он называл «чай», и она машинально, но методично разбирала их, укладывая траву метелками в одну сторону и думая, что Арчер опять не спал ночью, что часы на церкви спешат минут на десять или тринадцать и что хорошо бы купить у Гарфитов земли.

— Это, Джонни, лист орхидеи. Видишь коричневые пятнышки? Ну, пойдем, милый. Нам пора домой. Ар-чер! Джей-коб!

— Ар-чер! Джей-коб! — тоненько подхватил Джонни, вертясь на каблуках и движениями сеятеля разбрасывая по сторонам траву и листья. Арчер и Джейкоб выскочили из-за возвышения, за которым сидели скрючившись, собираясь неожиданно прыгнуть на мать, и они медленно пошли домой.

— Кто это там? — спросила миссис Фландерс, заслоняя глаза от солнца рукой.

— Вон тот старик на дороге? — переспросил Арчер, глядя вниз.

— Это не старик, — сказала миссис Фландерс, — Это — нет, это не он — я думала, это капитан, а это мистер Флloyd. Пойдемте, мальчики.

— Противный мистер Флloyd! — сказал Джейкоб, срывая чертополох, потому что уже знал, что мистер Флloyd будет заниматься с ними латынью, и действительно он занимался с ними потом три года, когда бывал свободен, просто по доброте душевной, и, кроме того, по соседству и не было никого другого, к кому бы миссис Фландерс могла обратиться с такой просьбой, а сама она уже не справлялась со старшими сыновьями, их надо было готовить к школе, и далеко не всякий священник стал бы вот так заходить к ним после чая или приглашать мальчиков к себе — получалось по-разному, потому что приход был очень большой, а мистер Флloyd, как когда-то его отец, навещал и те домики, которые стояли далеко на вересковых пустошах, и он, как и старый мистер Флloyd, был человек ученый, почему ей и показалось таким невероятным — просто никогда бы в голову не пришло... Могла бы и догадаться? Но ведь, помимо того что ученый, он же был на восемь лет ее моложе. Она знала его мать — старую миссис Флloyd. Ходила туда пить чай. И как раз, вернувшись после чая со старой миссис Флloyd, обнаружила в прихожей записку и взяла ее с собой на кухню, куда шла отдать Ребекке рыбу, думая, что там что-то про мальчиков.

— Мистер Флloyd сам заходил, да? Сыр, кажется, в свертке, в прихожей... в прихожей, да... — она уже читала. Нет, там было не про мальчиков.

— Да, конечно, на завтра на котлеты рыбы хватит. Может, капитан Барфут... — Она добралась до слова «люблю». Она пошла в сад и стала читать, прислонившись к ореховому дереву, чтобы не упасть. Грудь ее вздымалась и опускалась. Сибрук как живой стоял перед глазами. Она качала головой и глядела сквозь слезы на трепещущие листочки на желтом небе, когда на лужайку не то вылетели, не то выскочили три гуся, в испуге удиравшие от Джонни, который бежал за ними, размахивая палкой.

Миссис Фландерс покраснела от гнева.

— Сколько раз я тебе говорила? — закричала она и, поймав его, выхватила у него палку.

— Они же убежали! — кричал он, силясь вырваться.

— Ты очень непослушный мальчик. Я тебе объяснила раз и навсегда. Я *не позволяю* тебе бегать за гусями, — проговорила она, и, комкая письмо мистера Флойда, крепко взяла Джонни за руку, и погнала гусей обратно во двор.

— Ну как мне думать о замужестве! — с горечью сказала она себе, закрывая калитку на проволоку. Ей никогда не нравились рыжеволосые мужчины, размышляла она, вспоминая внешность мистера Флойда вечером, когда мальчики уже легли. И, отставив коробку с нитками, она придвинула к себе промокашку и еще раз перечитала письмо мистера Флойда, и снова грудь ее вздымалась и опускалась, когда она дошла до слова «люблю», но уже не так быстро, потому что она видела, как Джонни бежит за гусями, и понимала, что не может ни за кого выходить замуж, тем более за мистера Флойда, который настолько ее моложе, но какой милый человек — и такой ученый.

«Дорогой мистер Флойд», — написала она. — А про сыр я, кажется, все-таки забыла, подумала она, откладывая перо. Нет, она говорила Ребекке, что сыр в прихожей. — «Меня очень удивило», — писала она дальше.

Но письмо, которое мистер Флойд рано утром нашел у себя на столе, не начиналось словами «Меня очень удивило», а было такое материнское, почтительное, сумбурное, полное сожалений письмо, что он хранил его долгие годы и после того, как женился на мисс Уимбуш из Андовера, и когда прошло уже много лет после его отъезда из деревни. Потому что он попросил, чтобы ему дали приход в Шеффилде, и получил его, и тогда, позвав Арчера, Джейкоба и Джона прощаться, предложил им выбрать то, что понравится у него в кабинете, и взять себе на память. Арчер остановился на ножике для разрезания бумаги, потому что ему не хотелось забирать что-нибудь чересчур хорошее. Джейкоб выбрал сочинения Байрона в одном томе, а Джон, который был еще слишком мал, чтобы сделать правильный выбор, захотел взять котенка мистера Флойда — решение, сочтенное его братьями дурацким, но одобренное мистером Флойдом, который сказал: «У него пушок, как у тебя». Потом мистер Флойд рассказал им о королевском флоте (куда собирался Арчер) и о Рэгби (куда собирался Джейкоб), а на следующий день получил в подарок серебряный поднос и уехал — сперва в Шеффилд, где познакомился с мисс Уимбуш, гостившей там у своего дяди, затем в Хакни, оттуда в

Мэресфилд-хаус, директором которого он впоследствии стал, и, наконец, занявшись изданием широко известной серии «Жизнеописания духовных лиц», он поселился с женой и дочерью в Хампстеде, и его часто можно видеть у пруда Лег-оф-Маттон, где он кормит уток. А что касается письма миссис Фландерс — он принялся искать его на днях и не нашел, а спрашивать жену, не убирала ли она его, ему не захотелось. Встретив недавно Джейкоба на Пиккадилли, он узнал его почти что сразу, но Джейкоб стал таким красивым молодым человеком, что мистер Флойд не решился останавливать его на улице.

— Господи, боже мой, — сказала миссис Фландерс, читая в «Курьере Скарборо и Харрогита», что преп. Эндрю Флойд и т. д., и т. п. стал директором Мэресфилд-хауса, — да ведь это же, наверное, наш мистер Флойд.

Легкая печаль повисла над столом. Джейкоб накладывал себе варенья, на кухне Ребекка разговаривала с почтальоном, пчела жужжала в желтом цветке, который раскачивался у открытого окна. То есть все они так и жили, а бедный мистер Флойд становился в это время директором Мэресфилд-хауса.

Миссис Фландерс поднялась, подошла к каминной решетке и погладила Топаза за ухом.

— Бедный Топаз, — сказала она (потому что котенок мистера Флойда был уже очень старым котом, у него появилась короста за ушами, и на днях его собирались усыпить).

— Бедный старый Топаз, — повторила миссис Фландерс, когда он растянулся на солнышке, и улыбнулась, вспоминая, как отдавала его кастрировать и как ей не нравились рыжеволосые мужчины. Улыбаясь, она пошла на кухню.

Джейкоб утер лицо не слишком свежим носовым платком. И отправился к себе наверх.

Жук-рогач умирает медленно (жуков собирал Джон). Даже на второй день ножки еще двигаются. Но бабочки были мертвы. Запах тухлых яиц сразил бледно-желтых белянок с темными пятнышками, которые обрушились на сад, пронеслись к вершине холма Доде и полетели над вересковыми пустошами, то пропадая за кустами дрока, то снова суматошно вылетая на палящее солнце. На белом камне в римском лагере нежилась перламутровка. Из долины доносился звон церковных колоколов. В Скарборо по случаю воскресенья все ели ростбиф — тогда-то Джейкоб и

настиг бледно-желтых белянок с темными пятнышками в клеверном поле, в восьми милях от дома.

А Ребекка на кухне поймала «мертвую голову».

Сильный запах камфары исходил из коробок с бабочками.

Помимо камфары в воздухе безошибочно угадывался запах водорослей. Коричнево-желтые ленты висели на двери. Солнце било прямо в них.

На верхних крыльях ленточницы, которую Джейкоб держал в руках, четко выступали почкообразные пятнышки рыжевато-коричневого оттенка. Вот только серпа внизу не хватало. В тот вечер, когда Джейкоб поймал ее, в лесу упало дерево. Внезапно в глубине леса загрохотали револьверные выстрелы. А когда он поздно пришел домой, мать приняла его за грабителя. Единственный из сыновей, который совершенно ее не слушается, сказала она.

Моррис называл эту бабочку «чрезвычайно редким насекомым, которое встречается в сырых или болотистых местах». Но у Морриса случались ошибки. Иногда, выбрав самое тонкое перо, Джейкоб делал поправки на полях.

Дерево упало, хотя вечер выдался тихий, и фонарь, поставленный на землю, освещал и зеленые листья, и завядшую листву бука. Место было сухое. Рядом сидела жаба. И красная ленточница описала над огнем круг, озарилась на секунду и улетела. Красная ленточница так и не вернулась, хотя Джейкоб ждал ее. Был уже первый час, когда он пересек лужайку и увидел мать, которая еще не ложилась, а сидела в ярко освещенной комнате и раскладывала пасьянс.

— Как ты меня напугал! — воскликнула она. Она уже думала, что что-то случилось. И Ребекку он разбудил, а ей так рано вставать.

Он стоял бледный, возникший из глубин темноты, в теплой комнате и щурился на свет.

Нет, чего у этой ленточницы точно не было, так это светло-желтой каемки.

Косилку почему-то никогда не могли смазать как следует. Барнет разворачивал ее под окном Джейкоба, и она скрипела — скрипела, тархтела по лужайке и снова скрипела.

Набежали облака.

Опять вернулось солнце, ослепительное.

Оно как будто взглядом скользнуло по стремени, а затем быстро, но очень нежно захватило кровать, будильник и открытую коробку с бабочками. Бледно-желтые белянки с темными пятнышками обрушивались

на пустоши, зигзагами летели над пунцовым клевером. Перламутровки красовались на живой изгороди. Солнце припекало голубянок, устроившихся на косточках, разбросанных по дерну, а репейницы и павлиноглазки пировали на кровавых внутренностях, оброненных ястребом. Далеко от дома, в ложбине, поросшей ворсянками, у каких-то развалин он обнаружил углокрыльниц. Он видел «белого адмирала», который кружил вокруг дуба, улетаая все выше и выше, но поймать его так и не сумел. Старушка, живущая совсем одна в домике наверху, рассказывала ему о лиловой бабочке, которая прилетает к ней в сад каждое лето. Рано утром в утеснике играют лисята, рассказывала она. А если выйдешь на рассвете, непременно увидишь двух барсуков. Бывает, они валят друг друга на землю, прямо как дерущиеся мальчишки, говорила она.

— Не уходи сегодня далеко, Джейкоб, — предупредила мать, просунув голову к нему в комнату, — капитан придет попрощаться. — Был последний день пасхальных каникул.

Среда всегда считалась днем капитана Барфута. Он оделся чрезвычайно аккуратно в голубой саржевый костюм, взял палку с резиновым наконечником — поскольку остался хромым и потерял два пальца на левой руке, выполняя свой воинский долг, — и вышел из дома с флашштоком ровно в четыре часа пополудни.

А в три к миссис Барфут явился мистер Диккенс, который возил инвалидную коляску.

— Покатайте меня, — говорила она обыкновенно мистеру Диккенсу, просидев на набережной минут пятнадцать. А потом: — Спасибо, довольно, мистер Диккенс. — По первой команде он отправлялся искать солнечные места, по второй — останавливал коляску на светлой полоске.

Мистера Диккенса, старожилу Скарборо, многое роднило с миссис Барфут, дочерью Джеймса Коппарда. Питевой фонтанчик, стоящий в том месте, где Уэст-стрит выходит на Брод-стрит, подарил городу Джеймс Коппард, который был его мэром, когда отмечался юбилей королевы Виктории; имя Коппарда украшает городские цистерны для поливки улиц, витрины магазинов и цинковые ставни адвокатских контор. Эллен Барфут, однако, никогда не бывала в Аквариуме (хотя капитана Боуза, поймавшего акулу, знала в свое время прекрасно), а когда мимо проходили люди с афишами, глядела на них надменно, потому что понимала, что никогда не увидит ни Пьеро, ни братьев Зено, ни Дейзи Бадд с ее группой дрессированных тюленей. Потому что Эллен Барфут в своей коляске на

набережной была пленницей — пленницей цивилизации, — и все прутья ее клетки опускались на набережную в солнечные дни, когда тени от ратуши, магазина тканей, здания бассейна и Мемориального зала решеткой ложились на землю.

Мистер Диккенс, сам старожил, стоял чуть позади нее и курил трубку. Она задавала ему вопросы — что там за люди... и к кому перешла лавка мистера Джонса... потом о погоде... и пробовала ли миссис Диккенс то или это, — слова падали с губ, как крошки сухого печенья.

Она закрывала глаза. Мистер Диккенс прогуливался. Он еще не совсем перестал ощущать себя мужчиной, хотя, когда он приближался, видно было, как один разбухший черный башмак, дрожа, опускается перед другим, как глубока тень между жилетом и брюками и как неуверенно он наклоняется вперед, словно старая лошадь, вдруг оказавшаяся без упряжи и повозки. Но когда мистер Диккенс затягивался трубкой и выпускал дым, в глазах его оживали мужские чувства. Он думал о том, что капитан Барфут находится сейчас на пути к Маунт Плезент — капитан Барфут, его хозяин. Потому что дома, в маленькой комнатке в бельэтаже, где в окне прыгала канарейка, дочери сидели за швейной машинкой, а миссис Диккенс корчилась от ревматизма, — дома, где никто его в грош не ставил, мысль о том, что он служит у капитана Барфута, всегда его поддерживала. Ему нравилось думать, что, болтая здесь на приморском бульваре с миссис Барфут, он помогает капитану, направляющемуся к миссис Фландерс. Он, мужчина, охраняет миссис Барфут, женщину.

Поворачивая, он увидел, что она разговаривает с миссис Роджерс. Поворачивая обратно, обнаружил, что миссис Роджерс отошла. Тогда он вернулся к коляске, и миссис Барфут спросила, сколько времени, и он вынул свои огромные серебряные часы и сказал ей, сколько времени, чрезвычайно учтиво и так, как будто знал о времени и обо всем прочем гораздо больше, чем она. Но миссис Барфут знала, что капитан Барфут находится сейчас на пути к миссис Фландерс.

И он действительно был на пути к ней. Сойдя с трамвая, он увидел на юго-востоке холм Додс зеленый на фоне голубого, словно чуть запылившегося на горизонте неба. Бодрым шагом он стал взбираться на холм. Несмотря на хромоту в его походке было что-то военное. Миссис Джарвис, выходя из калитки священникова дома, увидела его, и Неро, ее ньюфаундленд, медленно завилял хвостом.

— А, капитан Барфут! — воскликнула миссис Джарвис.

— Здравствуйте, миссис Джарвис, — сказал капитан.

Они пошли вместе, а когда поравнялись с калиткой миссис Фландерс, капитан Барфут приподнял свою твидовую шляпу и сказал, кланяясь чрезвычайно любезно:

— До свидания, миссис Джарвис.

И дальше миссис Джарвис пошла одна.

Она шла гулять по вересковым пустошам. Опять, наверное, поздно вечером мерила шагами лужайку перед домом? Опять стучала в окно кабинета и кричала: «Посмотри на луну, Герберт, посмотри на луну!»

И Герберт смотрел на луну.

Миссис Джарвис гуляла по вересковым пустошам, когда чувствовала себя несчастной, и всякий раз доходила до одной известной ей ложбины в форме блюдца, хотя всегда собиралась дойти до какого-нибудь более отдаленного хребта, и там садилась и доставала книжечку, спрятанную под плащом, и читала несколько строчек стихов, и глядела вокруг. Она была не очень несчастна и, учитывая, что ей было сорок пять лет, вряд ли когда-нибудь будет очень, то есть безутешно несчастна, и вряд ли уйдет от мужа и собьет с пути какого-нибудь честного человека, как она порой грозилась.

И все-таки излишне говорить о том, какие опасности подстерегают жену священника во время подобных прогулок. Невысокая, смуглая, с горящими глазами, с фазаньим пером на шляпе, миссис Джарвис как раз была из тех женщин, которые могут вот так, на вересковой пустоши, утратить веру, то есть спутать своего Господа с общим, — но веру она не утрачивала, от мужа не уходила, стихов до конца никогда не дочитывала, а все гуляла по вересковым пустошам, глядела на луну за вязами и, сидя на траве, высоко над Скарборо, чувствовала... Да, да, когда парит жаворонок; когда овцы, двигаясь маленькими шажками, щиплют траву и одновременно позвякивают колокольчиками; когда ветерок, едва подув, замирает, оставляя на щеке поцелуй; когда корабли внизу, на море, кажется, сталкиваются друг с другом и уходят вдаль, как будто их тянет невидимая рука; когда где-то далеко в воздухе ощущаются толчки и призрачные всадники скачут и исчезают; когда плывет голубой, зеленый, чуткий горизонт — тогда миссис Джарвис, вздыхая, думает про себя: «О, если бы кто-нибудь мог поделиться со мною... если бы я могла поделиться с кем-нибудь...» Но она не знает, ни чем ей хочется поделиться, ни кто бы мог поделиться этим с ней.

— Капитан, миссис Фландерс вышла буквально пять минут назад, — сказала Ребекка. Капитан Барфут опустил в кресло и стал ждать. Положив локти на ручки кресла, накрыв одну руку другой, выдвинув

вперед больную ногу, поставив рядом с ней палку с резиновым наконечником, он сидел совершенно неподвижно. В нем чувствовалась какая-то жесткость. Думал ли он? Может быть, снова и снова об одном и том же. Но можно ли назвать его мысли «умными», интересными? Он был человек с характером, упорный, верный. Женщины ощутили бы: «Здесь закон. Здесь порядок. За такого человека надо держаться. Ночью он на капитанском мостике» — и, подавая ему чашку или что-нибудь такое, представляли себе бедствие, кораблекрушение, во время которого все пассажиры в панике выскакивают из кают и появляется капитан в бушлате, застегнутом на все пуговицы, сам под стать буре, побежденный лишь ею, но больше никем. «Но ведь у меня есть душа, — размышляла миссис Джарвис, когда капитан Барфут внезапно сморкался в свой огромный красный в горошек носовой платок, — а это мужская глухота, вот и все; что же касается бури, то она принадлежит мне ничуть не меньше, чем ему», — так размышляла миссис Джарвис, когда капитан навещал ее и, не застав Герберта дома, просиживал в кресле два-три часа, почти не разговаривая. Бетти Фландерс, однако, ничего подобного не думала.

— Ох, капитан, — воскликнула миссис Фландерс, распахивая двери гостиной. — Пришлось бежать за этим человеком от Баркера... Надеюсь, Ребекка... Надеюсь, Джейкоб...

Она сильно запыхалась, но не волновалась нисколько и, кладя щетку для камина, купленную в керосинной лавке, пожаловалась на жару, пошире распахнула окно, поправила покрывало, подобрала книжку, как будто была очень уверена в себе, очень хорошо относилась к капитану и была намного его моложе. И в самом деле, в своем голубом переднике она выглядела не старше тридцати пяти. Ему было сильно за пятьдесят.

Ее руки двигались над столом, и капитан качал головой из стороны в сторону и согласно мычал, слушая ее болтовню, — чувствуя себя совершенно свободно — после двадцати-то лет.

— Вот, — сказал он наконец, — пришел ответ от мистера Поулгейта.

Мистер Поулгейт отвечал, что, по его мнению, лучше всего послать мальчика в один из университетов.

— Мистер Флойд учился в Кембридже... нет, в Оксфорде... да, то ли в том, то ли в другом, — сказала миссис Фландерс. Она посмотрела в окно. Маленькие окна, сирень и зелень сада отражались в ее зрачках.

— У Арчера все в порядке, — добавила она. — Я получила очень хороший отзыв от капитана Максвелла.

— Я оставлю вам письмо, покажете Джейкобу, — сказал капитан,

неуклюже запихивая его обратно в конверт.

— Джейкоб, как всегда, гоняется за своими бабочками, — произнесла миссис Фландерс с раздражением и удивилась внезапно пришедшей в голову мысли. — На этой неделе, конечно, начнется крикет.

— Эдвард Дженкинсон подал в отставку, — сказал капитан.

— И вы будете теперь баллотироваться в совет? — воскликнула миссис Фландерс, глядя ему в лицо.

— Похоже, что да, — начал капитан Барфут, поглубже усаживаясь в кресле.

Джейкоб Фландерс, следовательно, отправился в Кембридж в октябре тысяча девятьсот шестого года.

III

— В этом вагоне нельзя курить, — слабым, испуганным голосом предупредила миссис Норман, когда распахнулась дверь и в поезд вскочил крепко сбитый молодой человек. Он, судя по всему, ее не услышал. Теперь до Кембриджа поезд шел без остановок, и она оказалась взаперти, одна в вагоне с мужчиной.

Она нажала на пружинку дорожного несессера и убедилась, что флакон духов и роман от Мюди^[1] у нее под рукой (молодой человек в это время стоял к ней спиной, клал чемодан на полку). Правой рукой бросить флакон, решила она, а левой дернуть шнурок вызова. Ей пошел шестой десяток, сын у нее учился в университете. И все равно, всем известно, что мужчин следует остерегаться. Она прочитала полстолбца в газете, затем украдкой выглянула из-за нее, чтобы определить степень опасности с помощью такого надежного способа, как изучение внешнего вида... Ей захотелось предложить ему газету. Но читают ли молодые люди «Морнинг пост»? Она посмотрела, что он читает — «Дейли телеграф».

Отметив носки (сползающие) и галстук (старый), она снова вернулась к лицу. Внимательно рассмотрела рот. Губы сомкнуты. Глаза опущены — читает. Все твердое и при этом молодое, безразличное, отрешенное — чтобы такой набросился? Нет, нет, никогда! Она посмотрела в окно, уже слегка улыбаясь, и снова на него, потому что он совсем ее не замечал. Сосредоточенный, погруженный в себя... вот поднял глаза, поглядел куда-то мимо нее... Казалось даже странным, что он вообще сидит здесь, наедине с пожилой дамой... затем глаза его — голубые — обратились к пейзажу. Меня тут как будто и вовсе нет, подумалось ей. Но не она же виновата, что здесь нельзя курить, если дело в этом.

Никто не видит другого таким, каков он на самом деле; что же говорить о пожилой даме, сидящей в поезде напротив незнакомого юноши. Видят целое, видят самое разное, видят себя... Миссис Норман прочитала уже три страницы романа мистера Норриса. Может быть, ей сказать этому молодому человеку (в конце концов, он ровесник ее сына): «Если хотите курить, не стесняйтесь». Нет, ему абсолютно безразлично, здесь она или нет... она не станет мешать.

Но если даже в ее годы она отметила его безразличие, наверное, он все-таки — по крайней мере для нее — был хорошим, красивым, интересным, благородным, стройным юношей, похожим на ее

собственного сына? Что хочешь, то и делай с ее впечатлением. Как бы то ни было, перед ней сидел Джейкоб Фландерс в возрасте девятнадцати лет. Бессмысленно пытаться понять людей. Надо схватывать намеки — не совсем то, что говорится, однако и не вполне то, что делается; вот, например, когда поезд подошел к станции, мистер Фландерс распахнул двери и вытащил даме ее дорожный несессер, сказав или, вернее, пробормотав очень робко: «Позвольте мне», и был при этом довольно-таки неуклюж.

— А кто... — спросила дама, увидев сына, но так как на платформе было полно народу и Джейкоб уже скрылся из виду, она не закончила фразу. И так как это был Кембридж, так как она приехала туда на субботу и воскресенье и так как с утра до вечера она только и видела что молодых людей на улицах и за круглыми столиками, образ попутчика совершенно растворился в ее памяти, подобно тому как изогнутая шпилька, брошенная ребенком в источник, у которого загадывают желания, кружится там в водовороте и исчезает навсегда.

Говорят, небо везде одинаково. Путешественники, изгнанники, люди, потерпевшие кораблекрушение, и умирающие находят опору в этой мысли, и, несомненно, если вы человек, склонный к мистицизму, утешение и даже прощение льется на вас с безмятежной глади. Но над Кембриджем — по крайней мере над сводом Капеллы Королевского колледжа — оно другое. Город, выходящий к морю, отбрасывает сиянье в ночь. Что же странного в том, что небо, омывающее уступы Капеллы, оказывается нежнее, прозрачнее и более переливчато, чем в любом другом месте? Может быть, Кембридж излучает свет не только ночью, но и днем?

Смотрите, как они идут к службе, как легко развеваются на лету мантии, словно под ними нет ничего плотного и материального. Как вылеплены лица, какая убежденность и сила, смиренные благочестием, а между тем под мантиями шагают огромные башмаки. Какими стройными рядами они движутся. Прямо стоят толстые восковые свечи, в белых мантиях вступают молодые люди, а над ними услужливый орел держит в клюве для всеобщего обозрения огромную белую книгу.

Из всех окон под углом падают параллельные полосы света, лилового и желтого даже там, где он совершенно рассеивается в пыль, — а в тех местах, где полосы соприкасаются с камнем, камень становится нежно-красным, желтым, лиловым. Ни зима, ни лето, ни снег, ни зелень не властны над старыми витражами. Как стекла фонаря защищают огонь и он горит ровно даже в самую бурную ночь — горит ровно и сосредоточенно

освещает стволы деревьев, — так и в Капелле все было очень чинно. Сосредоточенно звучали голоса, мудро вторил им орган, словно подпирая людскую веру согласием стихии. Фигуры в белых одеяниях переходили с одной стороны на другую, то подымались на несколько ступенек, то опускались, всё очень чинно.

...Если поставить фонарь под деревом, к нему сразу же приползают все лесные букашки — забавное сборище, потому что хотя они карабкаются, и повисают, и бьются головками о стекло, они сами не знают, зачем им это нужно, — какой-то бессмысленный порыв движет ими. Устаешь смотреть, как они семяют вокруг фонаря и слепо в него тычутся, словно просят впустить, и огромная жаба, совершенно обезумев, расталкивает всех, прокладывая себе дорогу. Ах, а что это? Раздается оглушительный грохот револьверных выстрелов, резкий треск — и расходится рябь, тишина плещется и замирает над звуком. Дерево, упало дерево — такова смерть в лесу. И потом в деревьях уныло гудит ветер.

Но вот служба в Капелле — женщин-то зачем сюда пускать? Конечно, если отвлекаешься (а вид у Джейкоба был чрезвычайно рассеянный — голова закинута, псалтырь раскрыт не на той странице), если отвлекаешься, так только из-за того, что на этих скамеечках с камышовыми сиденьями представлены несколько шляпных магазинов и десятки шкафов с разноцветными платьями. Хотя головы и тела, быть может, заняты божественным, все-таки ясно, что они все разные — некоторые предпочитают голубой цвет, другие — коричневый, одни — перья, другие — анютины глазки и незабудки. Никому же не придет в голову привести в церковь собаку. Собака на гравиевой дорожке — прекрасно, и к цветам она относится с должным уважением, но представить себе, как она пойдет по проходу, озираясь, подымая лапу у самой колонны, чтобы... — кровь застывает в жилах от ужаса (если, конечно, вокруг народ, если один — ничего страшного) — собака совершенно разрушает службу. Так и эти женщины — хоть порознь все они набожны и воспитаны, да еще имеют таких поручителей, как богословие, математика, латынь и греческий их мужей. Бог его знает, почему это так. Не говоря уж ни о чем прочем, подумал Джейкоб, они ведь все страшные как смертный грех.

Тут все зашуршало, зашептало. Он перехватил взгляд Тимми Дарранта, посмотрел на него очень строго и затем очень серьезно подмигнул.

«Уэверли» называлась вилла по дороге в Гиртон — не то что мистер Плумер так любил Вальтера Скотта или вообще стал бы подбирать какое-

нибудь название для своей виллы, однако названия бывают очень кстати, если приходится принимать студентов, и когда в воскресенье, в обеденное время, они все сидели и ждали еще одного студента, разговор шел о том, что написано над воротами.

— Это несносно! — перебила миссис Плумер, не сдержавшись. — Из вас кто-нибудь знает мистера Фландерса?

Его знал мистер Даррапт, и он поэтому слегка покраснел и смущенно сказал что-то насчет того, что совершенно уверен... говоря это, он смотрел на мистера Плумера и поддергивал правую брючину. Мистер Плумер поднялся и встал у камина. Миссис Плумер рассмеялась понимающим товарищеским смехом. Короче говоря, ничего более ужасного, чем эта сцена, вся обстановка и то, что им еще предстояло, — если учесть, что даже майский сад охватило холодное уныние и туча именно в этот момент заслонила солнце, — представить себе было просто невозможно. Сад, конечно, все-таки был. Они все одновременно туда посмотрели. Висела туча, и по листьям пробегала серая рябь, а воробьи... там сидело два воробья.

— Мне кажется... — сказала миссис Плумер, воспользовавшись тем, что молодые люди на секунду устали в сад, чтобы бросить взгляд на мужа, и тот, хоть и не беря на себя всю полноту ответственности за этот поступок, тем не менее коснулся гонга.

Подобное надругательство над часом человеческой жизни было, конечно, непростительно, но зато, когда мистер Плумер нарезал баранину, у него мелькнула мысль, что, если бы преподаватели никогда не приглашали к себе студентов на обед, если бы воскресенье шло за воскресеньем, студенты кончали университет, становились юристами, врачами, членами парламента, бизнесменами, — если бы ни один преподаватель никогда...

— Ну, что вкуснее — мятный соус без барашка или барашек без мятного соуса? — спросил он молодого человека, сидевшего рядом с ним, чтобы нарушить молчание, которое длилось уже пять с половиной минут.

— Не знаю, сэр, — отвечал молодой человек, заливаясь краской.

В этот момент появился мистер Фландерс. Он перепутал время визита.

Тут, хотя с мясом они уже покончили, миссис Плумер положила себе еще капусты. Джейкоб, разумеется, решил, что съест свое мясо за столько времени, сколько ей понадобится на капусту, и раза два взглядывал на нее, чтобы сверить скорость, — вот только ему жутко хотелось есть. Увидев это, миссис Плумер сказала, что если, конечно, мистер Фландерс не возражает, — и внесли пирог. Особым кивком она дала понять горничной,

что нужно подложить мистеру Фландерсу еще баранины. Она поглядела на блюдо. Теперь уже точно на завтра не хватит.

Она была не виновата — ну что она могла поделать, если сорок лет тому назад на окраине Манчестера родители решили произвести ее на свет? А уж будучи произведенной на свет, что ей еще оставалось, кроме как вырасти прижимистой, честолюбивой, с инстинктивно точным представлением о ступеньках лестницы и с муравьиным усердием толкать перед собой Джорджа Плумера на самый верх этой лестницы? А что там, наверху? Должно быть, ощущение, что все ступеньки уже позади, — вот, очевидно, что; ибо к тому времени, как Джордж Плумер стал профессором физики или чего бы там ни было, единственное, что еще могла миссис Плумер — это крепко держаться за свое высокое положение, взирать сверху вниз и призывать двух некрасивых дочек карабкаться по ступенькам.

— Мы вчера с девочками, — сказала она, — ходили на скачки.

И девочки были не виноваты. Они вышли в гостиную в белых платьях с голубыми кушачками. Разносили сигареты. Рода унаследовала отцовские серые холодные глаза. Серые холодные глаза были у Джорджа Плумера, но в них светился свет абстракции. Он мог говорить о Персии и о пассатах, о реформе парламента и об урожайных циклах. На полках у него стояли Герберт Уэллс и Бернард Шоу, а на столе лежали серьезные еженедельники, выпускаемые бледными людьми в нечищенных башмаках, — еженедельный скрип и визг мозгов, выполосканных в холодной воде и насухо отжатых, — унылые издания.

— Мне кажется, я ни о чем не могу судить, пока их не прочитаю, — живо проговорила миссис Плумер, похлопывая по странице с оглавлением красной рукой без перчатки, на которой кольцо казалось таким нелепым.

— Господи! Господи! Господи! — завопил Джейкоб, когда они вчетвером ушли оттуда. — О, господи!

— Отвратительная мерзость! — сказал он, быстро охватывая взглядом улицу в поисках сирени или велосипеда — чего-нибудь, чтобы вернуть себе ощущение свободы.

«Отвратительная мерзость», — сказал он Тимоти Дарранту, собирая всю свою неприязнь к миру, который увидел за обедом, миру, который мог существовать — тут сомневаться не приходилось, — но был таким ненужным — как же можно в это верить — Шоу, Уэллс и серьезные шестипенсовые еженедельники! Чего они хотят, эти старшие, все выскребывающие и уничтожающие? Что, они не читали Гомера,

Шекспира, елизаветинцев? Резко очерченный силуэт вставал на фоне чувств, данных ему юностью и природными наклонностями. Бедняги соорудили себе это убожество. Но и жалость какую-то он тоже ощущал. Девочки их несчастные...

То, насколько он разволновался, показывает, что его это и раньше донимало. Дерзок он был и неопытен, но, во всяком случае, города, построенные старшими, чернели на горизонте кирпичными окраинами, исправительными заведениями и казармами на фоне красно-желтого пламени. Он был впечатлителен, однако слову этому противостоит спокойствие, с которым он заслонил спичку от ветра рукой. Он был основательный молодой человек.

И все равно — студент или рассыльный, юноша или девушка — какой это удар в двадцать лет — мир старших — черный силуэт, надвигающийся на нас, на все вокруг, на вересковые пустоши и Байрона, на море и маяк, на овечью челюсть с желтыми зубами и на ту упрямую, неколебимую убежденность, которая делает юность столь невыносимо неприятной — «я — это я, таким и буду» — и для которой нет в мире подобия, если только сам Джейкоб его не создаст. А Плумеры будут мешать ему. Уэллс и Шоу, и серьезные шестипенсовые еженедельники будут давить на него. Всякий раз на воскресных званых обедах — на всех ужинах и приемах — он будет испытывать тот же удар — ужас — отвращение, — а потом удовольствие, поскольку, идя вдоль реки, он с каждым шагом проникается такой твердой уверенностью, таким ощущением поддержки со всех сторон — от качающихся деревьев, от серых шпилей, размытых в синеве, от голосов, плывущих и застывающих в воздухе, упругом майском воздухе, насыщенном цветением каштана, пылью и чем-то еще, что и придает воздуху в мае всю его мощь, затуманивает деревья, склеивает почки и разбрасывает зеленые пятна. А река течет не потоком, не быстро, но обволакивая весло, которое опускается в воду и роняет светлые капли с лопасти, течет, зеленая и глубокая, мимо склонившихся камышей, словно расточая им щедрые ласки.

Там, где они привязали лодку, деревья обрушивались вниз, так что верхние листья стелились по ряби и зеленый лиственный клин, лежащий на воде, чуть-чуть подрагивал, когда шевелились настоящие листья. Вдруг пробежала дрожь от ветра — открывался край неба, а Даррант ел вишни и бросал сморщенные желтые ягоды в этот зеленый лиственный клин, и черенки поблескивали, погружаясь и всплывая, и иногда надкушенная вишня летела туда же — красная в зелень. Джейкоб лежал на спине, и на уровне его глаз был луг, золотой от множества лютиков, а трава здесь, в

отличие от чахлых зеленых ручейков кладбищенской травы, пытающихся затопить могилы, росла сочная и густая. Запрокинув голову, он видел глубоко в траве ноги — детей и коров. Хруп-хруп, слышал он, затем переход по траве, затем снова хруп, хруп, хруп, когда они ощипывали траву у самых корней. Прямо перед ним две белые бабочки кружились вокруг вяза, улетаая все выше и выше.

«Заснул», — подумал Даррант, подняв глаза от своего романа. Он то и дело с забавной методичностью, прочитав несколько страниц, подымал глаза и всякий раз брал несколько вишен из кулька и рассеянно их ел. Мимо проплывали другие лодки, пересекая заводь из конца в конец, чтобы не сталкиваться, потому что много лодок уже причалило, и появились белые платья, и какое-то препятствие воздуху между двумя деревьями, обмотанными голубой лентой, — пикник леди Миллер. Все новые и новые лодки подходили, и Даррант, не вставая, подтолкнул их лодку ближе к берегу.

— М-м-м, — застонал Джейкоб, когда лодка качнулась и деревья качнулись, а белые платья и белые фланелевые брюки, длинные и трепещущие, стали растягиваться по берегу.

— М-м-м! — Он сел, и ему показалось, что упругая резинка хлопнула его по лицу.

— Они друзья моей матери, — сказал Даррант. — Так что старине Боу пришлось повозиться с лодкой.

И лодка эта прошла от Фалмута до залива Сент-Айвз вдоль всего побережья. А если взять лодку побольше, десятитонную яхту, с настоящим снаряжением, и числа двадцатого июня, говорил Даррант...

— Имеются финансовые трудности, — сказал Джейкоб.

— Об этом позаботятся мои родные, — ответил Даррант (сын банкира, покойного).

— Мне бы хотелось сохранить экономическую самостоятельность, — сухо проговорил Джейкоб. (Он начинал злиться.)

— Мать что-то пишет о поездке в Харрогит, — добавил он с досадой, ощупывая карман, где хранил письма.

— Ты правду говорил, что твой дядя обратился в мусульманство? — спросил Тимми Даррант.

Накануне у Дарранта Джейкоб рассказывал историю своего дяди Морти.

— Я думаю, он давно уже кормит акул, просто вести об этом до нас не дошли, — сказал Джейкоб — Эй, Даррант, всё! — воскликнул он, комкая

кулек, в котором были вишни, и бросая его в воду. Бросая его, он увидел на острове пикник леди Миллер.

Какая-то неловкость, раздражение, угрюмость появились у него в глазах.

— Поехали, — сказал он, — эта мерзкая толпа...

И они поплыли мимо острова.

Перистая белая луна не давала небу становиться темным; всю ночь белели цветы каштана в зелени; тускло поблескивала коровья петрушка на лугах.

Похоже было, что официанты в Тринити тасуют фарфоровые тарелки, как карты, — такой грохот доносился из Большого двора^[2]. А Джейкоб жил во дворе Невила^[3], на самом верху, так что к нему входили немного запыхавшись; только сейчас его там не было... Скорей всего ужинает в Холле^[4]. Во дворе Невила задолго до полуночи будет совсем темно, лишь колонны напротив всегда остаются белыми и еще фонтаны. Ворота там удивительные, как кружево на бледно-зеленом фоне. Даже из окна слышны тарелки и гул голосов тех, кто сейчас ужинает. Холл ярко освещен, распашные двери открываются и закрываются с мягким стуком. Кто-то опаздывает.

У Джейкоба в комнате стояли круглый стол и два кресла. Желтые ирисы в кувшине на каминной полке; фотография матери; членские билеты разных обществ с маленькими опрокинутыми полумесяцами, гербами и инициалами; бумаги и трубки; на столе лежало сочинение с отчеркнутыми красным полями, наверняка какое-нибудь эссе вроде «Исчерпывается ли история биографиями великих людей?» Книжек было порядочно; французских, правда, мало, но ведь, если человек что-то из себя представляет, он читает что ему вздумается, по настроению, уходя в это с головой. Там стояли, например, жизнеописания герцога Веллингтонского, Спиноза, сочинения Диккенса, «Королева фей», греческий словарь с шелковыми лепестками маков, засушенными между страницами, все елизаветинцы. Его домашние туфли были на редкость истоптанны — точно корабли, сгоревшие до основания. Затем фотографии древнегреческих скульптур, гравюра с картины Рейнольдса — все очень английское. Еще сочинения Джейн Остен — из почтения, вероятно, к чьему-то вкусу. Карлейля он получил в награду. Книги о художниках итальянского Возрождения, «Указатель заболеваний лошади» и обычные учебники. Воздух в пустой комнате неподвижен, лишь чуть надувает занавеску,

цветы в кувшине подрагивают. Скрипит перекладина в плетеном кресле, хотя там никто не сидит.

Сойдя со ступенек немножко боком (Джейкоб сидел на диване у окна и разговаривал с Даррантом; он курил, а Даррант изучал карту), старик в развевающейся черной мантии, сцепив руки за спиной, проковылял неловко вдоль стены и пошел к себе наверх. Потом еще один, который поднял руку, в восхищении указывая на колонны, ворота и небо, потом третий — шустрый и щеголеватый. Все они поднялись по лестницам, в трех темных окнах зажегся свет.

Если над Кембриджем вообще горит свет, то идет он из трех таких комнат: здесь горит древнегреческий, там естественные науки, в первом этаже — философия. Бедного старого Хакстэбла всего перекосило, а Сопвит восхищается небом каждый вечер последние двадцать лет, а Коуэн смеется одним и тем же историям. Нельзя сказать, что он прост, или чист, или как-то особенно замечателен, этот свет знания, ведь если посмотреть на них в его лучах (на стене может быть Россетти или репродукции Ван Гога, в вазе — сирень или старые трубки), до чего они похожи на жрецов! До чего это все напоминает провинцию, куда едешь полюбоваться видом и отведать какой-нибудь особенный пирог. «Такие пироги пекут только у нас!» И возвращаешься в Лондон, потому что развлечение окончено.

Старый профессор Хакстэбл, переодевшись с методичностью часового механизма, опустил в кресло, набил трубку, нашел нужную статью, скрестил ноги и вытащил очки. Тут вся кожа его лица пошла складками, будто вынули подпорки. Но если собрать содержимое голов с целой скамейки вагона метро, голова старого Хакстэбла все это вместит. И сейчас, когда его взгляд скользит по печатному тексту, какое шествие марширует по коридорам мозга — стройными, быстрыми рядами, получая на ходу подкрепление от вливающихся отрядов, покуда все здание, весь купол, как его ни назови, не будет населен мыслями. Ни в одном другом мозгу не бывает такого парада. Но случается, он сидит часами, вцепившись в ручку кресла, держась за нее точно утопающий за соломинку, а какие раздаются проклятия, и все из-за того, что его мучит мозоль или, может быть, подагра; господи, а послушать его, когда заходит речь о деньгах и он вынимает свой кожаный кошелек, не в силах расстаться даже с самой маленькой серебряной монеткой, скрытный и подозрительный, как старая хитрая крестьянка. Непонятный паралич, закупорка — и блестящее озарение. Безмятежно над всем этим царит великий мудрый лоб, и иногда во сие или в тишине ночи представляешь себе, что он и на каменной

подушке лежал бы торжествуя.

Сопвит тем временем, подойдя своей приплясывающей походкой от камина, стал нарезать шоколадный торт. До полуночи и позже у него в комнате засиживаются студенты, иногда человек двенадцать, иногда трое или четверо, но никто не встает, когда они приходят или уходят. Сопвит продолжает говорить. Говорить, говорить, говорить, как будто говорить можно обо всем — сама душа выскальзывает из уст тонкими серебряными дисками, которые растворяются в головах молодых людей, как серебро, как лунный свет. Ах, и далеко отсюда они будут это вспоминать, и в глубокой тоске оглядываться, и возвращаться, чтобы пополнить свои запасы.

— Ну и ну! А вот и Цыпочка! Ну, как дела, дорогой?

И входил бедный Цыпочка, неудачливый провинциал, фамилия которого на самом деле была Стенхаус, и, конечно, Сопвит тем, что называл его по-другому, сразу напоминал обо всем, обо всем, «чем мне вовек не стать» — хотя на следующий день, когда он покупал газету и садился в утренний поезд, все вчерашнее уже казалось ему каким-то нелепым, детским — и шоколадный торт, и молодые люди, и Сопвит, по обыкновению подводящий итоги; но нет, не все — он отправит сюда своего сына. Будет беречь каждый пенс, чтобы отправить сюда сына. Сопвит говорил, говорил, говорил, скручивая жесткие нити неловких высказываний — то, что вырвалось у студентов, — сплетая из них свой собственный аккуратный венок, нарядной стороной наружу, чтобы видна была яркая зелень, острые шипы, мужественность. Ему очень это нравилось. Сопвиту и впрямь можно было сказать все что угодно, но настанет время — и он, наверное, постареет, провалится, уйдет на дно, и тогда серебряные диски станут позвякивать глухо-глухо и надписи на них окажутся немножко простоватыми, а рисунок чересчур отчетливым, да и изображено будет всегда одно и то же — голова греческого мальчика. Но он будет его уважать, несмотря ни на что. Женщина, угадав в нем жреца, невольно презирала бы.

Коуэн, Эразмус Коуэн, потягивал свой портвейн в одиночестве или в обществе одного розового человечка, чья память хранила в точности тот же самый период времени, что и его собственная, потягивал портвейн, и рассказывал истории, и певуче читал наизусть Вергилия и Катулла латыни — словно язык был вином на его губах. Правда — найдет же такое! — что случилось бы, если бы сюда заглянул сам поэт? «Вот это я?» — спросил бы он, указывая на полного человека, чей мозг так или иначе представляет для нас Вергилия, хотя у него тело обжоры, а что касается

рук, пчел и даже плуга — Коуэн ездит за границу с французским романом в кармане, с пледом на коленях и, вернувшись, счастлив, что он снова дома, в своей стихии и держит в руках маленькое хорошенькое зеркальце, в котором встает образ Вергилия, весь в расходящихся лучах веселых историй о преподавателях Тринити и красных отсветах портвейна. Но язык — вино на его губах. Нигде больше Вергилий не услышал бы ничего подобного. И хотя, прогуливаясь вдоль колледжей со стороны реки, мисс Амфелби напевает его стихи достаточно мелодично и к тому же точно, около моста Клэр она всегда задается вот каким вопросом: «А вдруг бы мне довелось его встретить, что тогда лучше надеть?» — и затем, сворачивая по улице, ведущей к Ньюнему^[5], она представляет себе и другие подробности встреч мужчин и женщин, которые никогда не попадают в печать. И потому на ее лекциях по крайней мере в два раза меньше студентов, чем на лекциях Коуэна, и то, что она могла бы сказать по истолкованию текста, остается несказанным. Короче говоря, поставьте перед преподавателем образ преподаваемого — и зеркало разобьется. Но Коуэн потягивал портвейн, возбуждение его улеглось, он больше не был представителем Вергилия. Нет, подрядчик, налоговый инспектор, может быть, даже агент по недвижимости — расчерчивающий списки имен, вешающий их на двери. Вот сквозь какую ткань должен светить свет, если он вообще может светить, — свет всех этих языков, китайского и русского, персидского и арабского, символов и цифр, истории, всего, что мы знаем, и всего, что еще предстоит узнать. Так что если, оказавшись ночью в открытом море, увидишь вдали за бушующими волнами дымку над водой, озаренный город, белизну, захватившую даже небо, такую, как сейчас стоит над Холлом Тринити, где до сих пор ужинают или моют посуду, — это будет свет, льющийся оттуда, — свет Кембриджа.

— Пошли к Симеону, — предложил Джейкоб, когда они свернули карту, потому что обо всем договорились.

Свет загорался во всех окнах, выходящих во двор, падая на булыжник, выбирая темные участки травы и отдельные маргаритки. Студенты вернулись домой. Бог его знает, чем они занимались. Что это могло упасть с таким грохотом? И, перегнувшись через пенящиеся цветы на окне, один окликал другого, а тот куда-то торопился, и они шли вверх, и они шли вниз до тех пор, пока во дворе не установилась некая насыщенность, как в улье, полном пчел; пчел, вернувшихся домой, отяжелевших от золота, сонных, гудящих, внезапно обретающих дар речи. Отвечая Лунной сонате, зазвенел

вальс.

Лунная соната отзвучала. Вальс гремел. Хотя молодые люди по-прежнему входили и выходили, сейчас они шли так, будто спешили на условленное свидание. Время от времени раздавался глухой стук, словно падала какая-то тяжелая мебель, неожиданно, сама по себе, а не в общем вечернем движении жизни. Наверное, когда мебель падала, молодые люди отрывали глаза от книг. А они читали? В воздухе, определенно, было ощущение сосредоточенности. За серыми стенами сидело столько молодых людей, несомненно, некоторые читали — журналы, дешевую бульварщину, это уж вне всякого сомнения, — ноги их, скорее всего, лежали на ручках кресел; другие курили; сидели, развалясь, за столами, что-то писали, и головы их совершали круг вместе с движением пера — обыкновенные молодые люди, те самые, которые когда-нибудь... но нам ведь необязательно думать о том, какими они будут в старости; кто-то ел конфеты, там боролись, а, скажем, мистер Хокинс вдруг распахнул окно и завопил как сумасшедший: «Джо-зеф! Джо-зеф!» — и тут же помчался со всех ног через двор; при этом пожилой человек в зеленом фартуке, который тащил огромную кипу жестяных крышек, остановился в недоумении, стараясь удержать в равновесии свою ношу, а затем двинулся дальше. Но это отвлекает лишь на минуту. Некоторые молодые люди читали, лежа в неглубоких креслах и вцепившись в книги так, словно обрели в них надежду на спасение, ибо страшные муки терзают их — этих сыновей священников, приехавших из центральных графств. Другие читали Китса. И еще длинные многотомные истории — наверняка сейчас кто-нибудь начинал читать с самого начала, чтобы, наконец, как следует разобраться в Священной Римской империи. Этим частично объяснялась сосредоточенность, хотя, надо сказать, довольно опасно теплым весенним вечером — опасно, пожалуй, уж слишком сосредоточиваться на этих уникальных книгах и злободневных главах, когда в любую минуту могла отвориться дверь и входил Джейкоб или Ричард Бонами, бросив читать Китса, принимался отрывать от старой газеты длинные розовые ленты, подавшись вперед, и его довольное, взволнованное лицо становилось почти что ожесточенным. Почему? Может быть, потому только, что Ките умер молодым — и хочется тоже писать стихи и любить, — ах, скоты! Это так жутко трудно. А может быть, в конце концов, и не так трудно, если на соседней лестнице в большой комнате есть двое, трое, пятеро молодых людей, которые все убеждены в том же — то есть в существовании скотства и ясной границы между добром и злом. Там стоят диван, стулья,

квадратный стол, и в раскрытое окно видно, как они сидят — сбоку торчат ноги, кто-то забился в угол дивана, и, скорее всего, хотя, правда, не разглядеть, кто-то стоит у каминной решетки и разговаривает. Как бы то ни было, Джейкоб, который сидел, оседлав стул, и ел финики из длинной коробки, расхохотался. Ответ последовал из угла дивана, потому что трубка там замерла в воздухе и затем возвратилась на свое место. Джейкоб развернулся вместе со стулом. На *это* у него было что сказать, хотя крепкий рыжий юноша, сидящий за столом, кажется, не соглашался с ним и медленно качал головой из стороны в сторону, а затем, вытащив перочинный ножик, вонзил его острие несколько раз в сучковатое утолщение на столе, как будто подтверждая, что голос, доносящийся от каминной решетки, говорит дело, — да и Джейкоб этого отрицать не мог. Быть может, покончив с раскладыванием финиковых косточек, он найдет, что сказать в ответ, и в самом деле рот его раскрылся — но тут раздались раскаты хохота.

Смех замер в воздухе. Да и вряд ли бы он достиг того, кто стоит у Капеллы, протянувшейся вдоль другой стороны двора. Смех замер, и только видно было, как из движений рук и тел в комнате что-то возникает. Спор? Пари о лодочных гонках? Ничего подобного? Что же возникало из рук и тел, двигающихся в полутьме комнаты?

В двух шагах за окном уже ничего не было, кроме зданий вокруг — прямые трубы, горизонтальные крыши, пожалуй, слишком много кирпича и построек для майского вечера. И тут перед глазами вырастают голые холмы Турции — резкие линии, сухая земля, яркие цветы и загорелые плечи женщин, которые, стоя босыми ногами в воде, бьют мокрым бельем о камни. Вода оплетает их щиколотки. Но это все очень смутно видно сквозь свивальники и покрывала кембриджской ночи. Даже удар часов приглушен, словно благоговейно пропет с кафедры, словно поколения ученых слышали, как по их рядам перекачивается этот последний час, и выпустили его в свет уже отполированным временем, благословляя на то, чтобы им пользовались живые.

Может быть, молодой человек подошел к окну и стоял там, всматриваясь во двор, как раз для того, чтобы принять этот дар прошлого? Это был Джейкоб. Он стоял и курил трубку, а вокруг него тихо гудел последний удар часов. Наверное, у них действительно только что закончился спор. Джейкоб, казалось, был доволен и даже горд, но, пока он там стоял, выражение его лица едва заметно сменилось другим, бой часов (вероятно) навевал на него ощущение старинных зданий и времен, и он чувствовал себя их наследником, а ведь еще будет завтра и друзья, при

мысли о которых он, пожалуй, просто от уверенности и удовольствия зевнул и потянулся.

Между тем за его спиной то, что возникло в результате спора или чего-то другого, призрачное, но твердое, хрупкое как стекло по сравнению с темным камнем Капеллы, разбилось вдребезги, потому что молодые люди, поднявшись с кресел и из углов диванов, двигались по комнате, неуклюже толкались, один подпихивал другого к двери спальни, и когда она поддалась, оба упали. А Джейкоб остался сидеть в неглубоком кресле наедине с Мэшем? Андерсоном? Симеоном? Да, это был Симеон. Остальные все ушли.

«...Юлиан Отступник...» Кто из них произнес это и другие слова, прозвучавшие следом? Но ближе к полуночи иногда подымается, как внезапно разбуженная фигура в вуали, сильный ветер, и, проносясь сейчас над колледжем Тринити, он всколыхнул невидимые листья и все смешал. «Юлиан Отступник» — и сразу же ветер. Взлетают ветви вязов, надуваются паруса, вздымаются и уходят под воду старые шхуны, страстно обрушиваются серые волны в горячем Индийском океане, и все опадает.

Так что если дама в вуали пролетела над дворами колледжа Тринити, то сейчас она вновь задремала, подобрав свои одежды, прислонившись головой к колонне.

— Все-таки это оказывается важным.

Этот тихий голос принадлежал Симеоноу.

Голос, который ему ответил, звучал еще тише. Резкий стук трубки о камин заглушил слова. А может быть, Джейкоб сказал только «гм» или ничего не сказал. И правда, слов не было слышно. Это была та близость, та душевная податливость, когда сознание одного навсегда отпечатывается в сознании другого.

— Да, ты в этом здорово разбираешься, — сказал Джейкоб, поднявшись и встав перед креслом Симеона. Он помедлил, слегка покачнулся. Вид у него был необыкновенно довольный, и если бы Симеон заговорил, радость, наверное, перелилась бы и потекла через край.

Симеон ничего не сказал. Джейкоб остался стоять. Но близость — комната переполнялась ею, тихой, глубокой, как пруд. Не нужно было двигаться или говорить, она бесшумно поднималась и омывала все, смягчая, озаряя и окутывая сознание жемчужным блеском, так что если уж говорить о свете, о светящемся Кембридже, это не только языки. Это Юлиан Отступник.

Но Джейкоб пошевелился. Он пробормотал: «Спокойной ночи».

Вышел во двор. Застегнул куртку на груди. Он пошел домой, и так как в этот момент больше никто домой не возвращался, шаги его звучали громко, фигура казалась огромной. От Капеллы, от Холла, от Библиотеки доносился звук его шагов, как будто старые камни отзывались с магистерской властью: «Студент — студент — студент — идет — домой».

IV

Какой смысл пытаться читать Шекспира, да еще в таком издании — маленький томик, без переплета, на бумаге до того тонкой, что страницы то и дело либо заворачиваются, либо слипаются от морской воды? Хотя пьесами Шекспира все беспрестанно восхищаются, даже цитируют их и ценят больше древнегреческих, за время путешествия Джейкоб ни одну из них не сумел дочитать до конца. А какая прекрасная была возможность!

Острова Силли, похожие на плывущие горные вершины, и впрямь показались именно там, где ожидал их увидеть Тимми Даррант. Его расчеты были безупречны, да и вообще весь вид его — как он сидел в лодке, держа руку на румпеле, здоровый, с отросшей бородой, и сурово поглядывал то на звезды, то на компас, безошибочно разбирая очередную страницу из справочника, — ни одну женщину не оставил бы равнодушной. Но Джейкоб, разумеется, не был женщиной. Вид Тимми Дарранта не волновал его нисколько, нечего тут было возводить на пьедестал, нечему поклоняться, скорее наоборот. Они поссорились. И почему спор о том, как нужно открывать мясные консервы, когда на борту был Шекспир, а вокруг такая красота, превратил их в надувшихся школьников, объяснить невозможно. Конечно, консервы они едят холодными и печенье размокает в соленой воде, а волны час за часом (довольно-таки однообразно) подпрыгивают и плюхаются, подпрыгивают и плюхаются до самого горизонта. А то мимо проплывет кучка водорослей или бревно. Здесь, случается, гибнут корабли. Два или три прошли мимо, держась каждый своего курса. Тимми знал, куда они направляются, с каким грузом, и, посмотрев в подзорную трубу, мог сказать, какой компании они принадлежат, и даже предположить, какие дивиденды получают держатели акций. И все-таки надуваться Джейкобу было не из-за чего.

Острова Силли казались похожими на плывущие горные вершины... К несчастью, Джейкоб сломал иглу примуса.

Острова Силли чуть не исчезли навсегда под огромным набежавшим валом.

Но надо отдать должное молодым людям — завтрак при таких обстоятельствах проходит в атмосфере хоть и мрачной, но по крайней мере не фальшивой. Разговаривать не обязательно. Они достали трубки.

Тимми записал свои научные наблюдения, и — что это был за вопрос,

нарушивший молчание? — который час? или какое сегодня число? — во всяком случае он был задан без тени смущения, самым что ни на есть обыденным тоном, и вскоре Джейкоб стал раздеваться и остался сидеть в одной рубашке, видимо собираясь купаться.

Острова Силли постепенно синели, а море внезапно вспыхнуло синим, лиловым и зеленым, а потом снова стало серым, по нему пробежала полоса и тут же исчезла, но когда Джейкоб стянул через голову рубашку, вся поверхность воды была уже синей и белой, с набегающей свежей рябью, хотя то тут, то там появлялась широкая лиловая отметина, похожая на синяк, или всплывал настоящий изумруд с желтым отливом. Он нырнул, захлебнулся, откашлялся, взмахнул правой рукой, левой ухватился за канат, глотнул воздуха, поднял уйму брызг и был втащен на борт.

Сиденье стало просто горячим, и солнце жгло ему спину, а он сидел не одеваясь, с полотенцем в руке, и глядел на острова Силли, которые... вот черт! — рвануло парус! Шекспир полетел за борт. Они смотрели, как весело он уплывал, раздувая свои бесчисленные страницы, а потом ушел под воду.

Как ни странно, пахло фиалками или, если фиалок в июле не бывает, что-то, что очень пряно пахнет, выращивают, наверное, там, на берегу. Сам берег, не такой и далекий — видны были расщелины в утесах, белые домики, поднимающийся дым, — казался поразительно спокойным, солнечно-умиротворенным, как будто мудрость и благочестие снизошли на тамошних жителей. Иногда доносился какой-то крик — точно разносчик сардин выкликал на главной улице свой товар. И все казалось поразительно благочестивым и мирным, будто старики курили на завалинках, и девушки стояли, подбоченясь, у колодцев, и лошади стояли; будто уже настал конец света, и капустные поля, и каменные ограды, и пограничные посты, и, главное, заливы с белым песком, где бьются никем не видимые волны, подымались в каком-то экстазе в небеса.

Но дым из труб едва уловимо никнет и кажется знаком траура, лентой, нежно овевающей могилу. Чайки, совершив большой перелет, теперь мирно качаются на волнах, словно указывая место захоронения.

Наверняка, если бы это была Италия, Греция или даже побережье Испании, печаль развеялась бы от новизны, возбуждения и подсказок гуманитарного образования. Но на корнуолльских холмах торчат только голые трубы, и так или иначе их прелесть очень печальна. Да, когда глядишь на трубы, и пограничные посты, и заливики, где бьются никем не видимые волны, тебя охватывает неодолимая печаль. И что это за печаль такая?

Ее рождает сама земля. Она исходит от домиков на берегу. Начинаем с прозрачности, а затем туман сгущается. Вся история стоит за нашим стеклом. Деться некуда.

Верное ли это объяснение тоски Джейкоба, который сидел раздевшись на солнце и глядел на мыс Лендс-Энд, сказать трудно, потому что он не проронил ни слова. Тимми несколько раз приходило в голову (правда, только на одну секунду), что, может быть, Джейкоб волнуется из-за его родственников... Не важно. Не все можно выразить словами. Забудем. Надо вытереться и заняться первым, что попадется на глаза... Тетрадь, в которой Тимми Даррант записывает свои научные наблюдения.

— Послушай, — сказал Джейкоб.

Это был сногсшибательный довод.

Есть люди, которые могут проследить за каждым шагом пути, да еще в конце сделать маленький, хотя бы шестидюймовый шажок самостоятельно, другие же всю жизнь только наблюдают за внешними проявлениями.

Уставятся на кочергу, правая рука берет кочергу, поднимает, медленно ее поворачивает, а затем очень аккуратно ставит на место. Левая рука, лежащая на колене, играет какой-то величавый, но прерывающийся марш. Глубокий вдох, и воздух, никак не использованный, улетучивается. Кошка ступает по коврику у камина. На нее никто не смотрит.

— Вот примерно так я это себе представляю, — заключил Даррант.

Следующую минуту стоит гробовое молчание.

— Значит... — сказал Джейкоб.

Затем последовала только половина фразы, но эти половины фраз как сигнальные флажки на крышах зданий для того, кто, стоя внизу, наблюдает за внешними событиями. И что такое корнуолльское побережье с его запахом фиалок, и знаками траура, и безмятежным благочестием — оно всего лишь фон, случайно оказавшийся сзади, от которого оттолкнулся ум.

— Значит... — сказал Джейкоб.

— Да, — ответил Тимми подумав, — это так.

Тут Джейкоб принялся нырять, отчасти чтобы поразмяться, отчасти, вне всякого сомнения, просто от радости, потому что, когда он сворачивал парус и вытирал тарелки, с его губ слетали весьма странные звуки — хриплые, немзыкальные, — некое подобие победной песни, потому что он нашел такой замечательный довод и вышел победителем — загорелый, небритый, способный к тому же отправиться в кругосветное путешествие на десятитонной яхте, что, очень может быть, он вскоре и сделает, вместо того чтобы засесть в какой-нибудь юридической конторе и носить

коротенькие гетры.

— Наш друг Мэшем, — сказал Тимми Даррант, — не хотел бы, чтобы его кто-нибудь застал в нашем обществе, когда мы в таком виде.

У него отлетели все пуговицы.

— Ты знаешь тетку Мэшема? — спросил Джейкоб.

— Никогда не слышал, что у него есть тетка, — ответил Тимми.

— У Мэшема миллион теток, — сказал Джейкоб.

— Мэшем есть в «Книге Страшного суда», — сказал Тимми.

— Вместе со своими тетками, — добавил Джейкоб.

— Его сестра, — проговорил Тимми, — очень хорошенькая девочка.

— Вот что тебя ждет, Тимми, — сказал Джейкоб.

— Тебя первого, — ответил Тимми.

— Но эта женщина, о которой я тебе рассказываю, тетка Мэшема...

— Ну, так что же? — спросил Тимми, потому что Джейкоб от хохота не мог вымолвить ни слова.

— Тетка Мэшема...

Теперь Тимми не мог говорить от хохота.

— Тетка Мэшема...

— И что в этом Мэшеме такого, отчего делается так смешно? — еле выговорил Тимми.

— Да ну его — человек, который проглотил булавку от галстука, — сказал Джейкоб.

— Он к пятидесяти годам будет лордом-канцлером, — заявил Тимми.

— Он — джентльмен, — согласился Джейкоб.

— Герцог Веллингтонский — вот был джентльмен, — сказал Тимми.

— А Китс — нет.

— А лорд Солсбери — да.

— А как насчет Господа Бога? — спросил Джейкоб.

Сейчас казалось, что на острова Силли указывает золотой палец, выходящий из облака, а кому не известно, что это необыкновенное зрелище и что эти широкие лучи, светят ли они на острова Силли или на гробницы крестоносцев в соборах, всегда сотрясают самые основы скептицизма и ведут к шуточкам по поводу Господа.

Со много будь;
Вечернею порой
Ложатся тени;
Боже, будь со мной,—

пропел Тимми Даррант.

— А у нас был гимн, который начинался:

Господь, что вижу я, что слышу? —

сказал Джейкоб.

Чайки, легонько раскачиваясь, сидели на волнах по две и по три совсем рядом с лодкой; баклан, будто устремившись за своей длинной шеей, вытянувшейся от вечных поисков, перелетел, почти задевая воду, к соседней скале, а издалека доносилось гудение прилива в пещерах, похожее на тихий монотонный голос, разговаривающий сам с собой.

О, Иисус, скала веков,
Дай в Тебе сыскать мне кров,—

пропел Джейкоб.

Словно тупой зуб какого-нибудь чудовища, скала рассекала поверхность моря, вся коричневая, затопляемая неиссякаемыми водопадами.

О, Иисус,—

пел Джейкоб, лежа на спине, глядя в полуденное небо, с которого исчезли последние клочья облаков, как будто отдернули занавеску и выставили его, наконец, для постоянного обозрения.

К шести часам подул ветерок с ледников; к семи вода стала скорее лиловой, чем синей, а к половине восьмого пространство вокруг островов Силли сделалось похоже на шершавую кожу золотобойца, и лицо Дарранта, который сидел у руля, было цвета красной лаковой коробочки, отполированной на века. К девяти все пламя и волнение на небе улеглось, оставив только ярко-зеленые клинышки и бледно-желтые залысины, а к десяти на волнах, то распластывающихся, то горбящихся, задрожали, вытягиваясь и сжимаясь, разноцветные пятна от фонарей с лодки. Луч маяка быстро пробежал по воде. На расстоянии бесчисленных миллионов миль поблескивали рассыпанные звезды, а волны шлепались о лодку и,

грохоча, с размеренной и жуткой торжественностью обрушивались на скалы.

Хотя, вероятно, можно постучаться в домик и попросить стакан молока, однако лишь сильная жажда способна подвигнуть на вторжение. А миссис Паско, пожалуй, была бы ему только рада. Летний день, наверное, тянется медленно. Стирая у себя в судомойне, она, должно быть, слышит дешевые часики, стоящие на полке над камином, тик-так, тик-так, тик-так... Она одна в доме. Муж пошел помогать фермеру Хоскену, дочка замужем и живет в Америке. У старшего сына тоже семья, но с его женой у нее нелады. Однажды пришел священник-методист и увел с собой младшего. Она одна в доме. Пароход, очевидно направляющийся в Кардифф, сейчас пересекает горизонт, а совсем рядом раскачивается туда-сюда колокольчик наперстянки, в котором вместо языка гудит шмель.

Эти белые корнуолльские домики построены на краю утеса, земля здесь охотнее растит можжевельник, чем капусту, а вместо изгороди какой-то первобытный человек накидал кучу валунов. В одном из них, предназначенном, как полагают историки, для крови жертвы, было выдолблено углубление, которое в наши дни смиренно служит сиденьем для туристов, жаждущих найти ничем не заслоненный вид на Голову Морского Петуха. Разумеется, синее ситцевое платье и белый передник в саду никому не мешают.

— Смотри, воду ей приходится носить из колодца.

— Зимой здесь, должно быть, страшно одиноко, ветер гуляет по холмам, волны бьются о скалы.

Даже в летний день слышен их плеск.

Набрав воды, миссис Паско пошла в дом. Туристы пожалели, что не захватили бинокля, а то можно было бы прочесть название проходящего мимо случайного парохода. Вообще, в столь ясный день казалось, нет ничего такого, что нельзя разглядеть в обыкновенный полевой бинокль. Два рыбачьих судна, скорей всего из залива Сент-Айвз, удалялись от парохода, а дно моря становилось то отчетливо различимым, то матовым. Шмель, насосавшись вдоволь меду, перелетел на ворсянку, а оттуда напрямик на участок миссис Паско, что заставило туристов еще раз посмотреть на старухино ситцевое платье и белый передник, потому что она вышла на порог своего дома и стояла там.

Она стояла, заслонив глаза от солнца рукой, и глядела на море.

В миллионный раз, наверное, она глядела на море. Бабочка «павлиний глаз» распласталась на ворсянке, яркая и только что появившаяся на свет, о

чем свидетельствовали синие и шоколадные пятнышки на крыльях. Миссис Паско зашла в дом, взяла там кружку из-под сливок, вышла и принялась ее отдраивать. Лицо ее, безусловно, не было ласковым, чувственным или порочным, но скорее жестким, мудрым, здоровым, и в комнате, полной разных утонченных людей, символизировало бы плоть и кровь жизни. Конечно, лгать ей случалось не реже, чем говорить правду. За нею на стене висел большой высушенный скат. А в маленькой гостиной в глубине дома хранилось самое дорогое — коврики, фарфоровые кружки и фотографии, хотя от соленых ветров эта обшарпанная комнатка защищена лишь одним слоем кирпичей, и сквозь кружевные занавески видно, как камнем летит вниз баклан, а когда штормит, трепещущие чайки рассекают воздух и огни пароходов оказываются то высоко, то низко. Унылые звуки раздаются здесь зимними вечерами.

По воскресеньям приносят газеты с картинками, и она долго изучает венчанье леди Цинтии в Вестминстерском аббатстве. Ей тоже хотелось бы ездить в карете на рессорах. Нежные быстрые переливы культурной речи заставляют ее стыдиться своего грубого выговора. Да и слушать всю ночь напролет, как скрежещет о скалы Атлантический океан, вместо перестука двухколесных экипажей и свиста швейцаров, подзывающих автомобили... Так, наверное, она размышляет, отдраивая кружку из-под сливок. Но все разговорчивые и сообразительные люди давно уехали в город. А она, как скупец, прячет свои чувства в груди. За все эти годы она не разменяла ни монетки, и завистливому взгляду кажется, что внутри у нее чистое золото.

Мудрая старая женщина пристально посмотрела на море и снова ушла в дом. Туристы решили, что пора двигаться к Голове Морского Петуха.

Спустя три секунды в дверь постучала миссис Даррант.

— Миссис Паско? — позвала она.

Она проводила туристов, бредущих по тропинке через поле, довольно высокомерным взглядом. Она была из племени шотландских горцев, знаменитого своими вождями.

Появилась миссис Паско.

— Как мне у вас нравится этот куст! — зоскликнула миссис Даррант, указывая зонтиком, которым она только что стучала в дверь, на растущий у порога красивый куст зверобоя. Миссис Паско посмотрела на него неодобрительно.

— У меня вот-вот сын приезжает, — сказала миссис Даррант, — Плывет с приятелем на лодочке из Фалмута. А от Лиззи есть какие-нибудь вести, миссис Паско?

В двадцати ярдах от дома на дороге, прядая ушами, стояли ее длиннохвостые пони. Мальчик, Керноу, время от времени отгонял от них мух. Он видел, как его хозяйка проследовала в дом, вышла и — если судить по движениям рук, что-то оживленно говоря — обошла огород перед домом. Миссис Паско приходилась ему теткой. Обе женщины внимательно осмотрели кустарник. Миссис Даррант наклонилась и отломил веточку. Потом (движения ее были повелительными, держалась она очень прямо) показала на картошку. Листья были больны. В тот год картофель болел у всех. Миссис Даррант продемонстрировала миссис Паско, как далеко зашла болезнь у нее на участке. Миссис Даррант оживленно говорила, миссис Паско покорно слушала. Мальчик Керноу знал, что миссис Даррант объясняет, что это очень просто — разводишь порошок в пяти литрах воды.

— Я у себя в огороде сама это сделала, — объясняла миссис Даррант.

— Иначе у вас ни одной картофелины не останется — ни одной, — проговорила миссис Даррант со свойственным ей напором, когда они подошли к калитке. Мальчик Керноу замер.

Миссис Даррант взяла вожжи в руки и уселась на место кучера.

— Лечите свою ногу, а то я вам доктора пришлю, — крикнула она через плечо, тронула пони, и повозка двинулась. Мальчик Керноу едва успел взобраться, зацепившись носком ботинка. Сидя посередине заднего сиденья, он оглядывался на свою тетку.

Миссис Паско стояла у калитки, глядя им вслед, стояла и после того, как двуколка исчезла за поворотом, стояла у калитки и смотрела то в одну сторону, то в другую, затем пошла обратно в дом.

Вскоре старательные ноги пони принялись одолевать ухабистую, поросшую вереском дорогу. Миссис Даррант опустила вожжи и откинулась назад. Оживление ее покинуло. Тонкий ястребиный нос напоминал бесцветную, почти просвечивающую кость. Руки, придерживавшие вожжи на коленях, казались твердыми, даже когда ничего не делали. Верхняя губа, очень короткая и вздернутая, открывала передние зубы в каком-то подобии усмешки. Если ум миссис Паско не выходил за пределы ее одинокого участка, ум миссис Даррант парил над пространством. Он парил над пространством, в то время как пони взбирались на холм. Взад и вперед посылала она свой ум, как будто бы домики без крыш, груды шлака и сады, поросшие наперстянкой и куманикой, отбрасывали на него тень. Поднявшись на вершину, она остановила повозку. Ее окружали бледные холмы, сплошь усеянные древними камнями; внизу было море, изменчивое как на юге; сама она

сидела, переводя взгляд с холмов на море, прямая, с орлиным профилем, застывшая в шатком равновесии между тоской и весельем. Внезапно она стегнула пони, и мальчику Керноу пришлось взбираться, цепляясь носком ботинка.

Грачи уселись, грачи поднялись. Деревьев, которых они касались так капризно, очевидно, не хватало, чтобы всех разместить. Верхушки пели на ветру, ветки громко трещали и то и дело, хотя стояла середина лета, роняли какую-то шелуху и прутики. Грачи взмывали вверх и снова опускались, и каждый раз их подымалось все меньше и меньше, ибо более мудрые птицы устраивались на ночлег, потому что вечер был уже на исходе и в лесу почти совсем стемнело. Мох был очень мягкий, стволы деревьев — призрачны. За ними лежал серебряный луг. Пампасная трава поднимала свои оперенные стрелы из зеленых курганов на краю луга. Поблескивала полоска воды. Уже выюновый мотылек кружился над цветами. Оранжевые и лиловые настурции и гелиотропы тонули в сумерках, но табак и страстоцвет, над которыми кружил большой мотылек, оставались фарфорово-белыми. Грачи в верхушках деревьев скрипуче складывали крылья и собирались спать, когда вдалеке вострепнулся и задрожал знакомый звук — все громче, громче, — и, оглушительно гудя в ушах, заставил сонные крылья в испуге снова подняться в воздух — в доме звучал гонг к ужину.

После шести дней соленого ветра, дождя и солнца Джейкоб Фландерс надел смокинг. Этот аккуратный черный предмет появлялся время от времени в лодке среди консервных банок, солений, заготовленного впрок мяса, и чем дольше длилось путешествие, тем более он казался неуместным, почти нереальным. Но теперь, при свете свечей, в мире, обретшем устойчивость, смокинг один защищал его. Он был ему безмерно благодарен. Шея, запястья, лицо все равно торчали без прикрытия, а сам он, хоть и был прикрыт, до того пылал и трепетал, что и черная ткань представлялась недостаточно надежным покровом. Он убрал со скатерти свою огромную красную руку. Украдкой она сжимала тонкие бокалы и изогнутые серебряные вилки. Косточки в отбивных были одеты в розовые бумажные оборки, а как он обгрызал свинину с кости еще вчера! Напротив него располагались туманные, полупрозрачные желтые и голубые фигуры. За ними опять виднелся серо-зеленый сад, и среди грушевидных листьев эскалонии, казалось, повисли, застряв, рыбацьи лодки. Парусник медленно тащился за спинами женщин. Несколько раз в сумерках кто-то

поспешно пересек террасу. Дверь открывалась и закрывалась. Ничто не успокаивалось, не оставалось целым. Как весла, гребущие то с той стороны, то с этой, фразы ззучали то оттуда, то отсюда, с обеих сторон стола.

— Ах, Клара, Клара! — воскликнула миссис Даррант, и когда еще Тимоти Даррант добавил «Клара, Клара», Джейкоб назвал фигуру в желтой кисее Кларой, сестрой Тимоти. Она сидела улыбающаяся, раскрасневшаяся. Глаза были темные, как у брата, но она выглядела неопределеннее, мягче. Когда смех затих, она сказала:

— Но, мама, так и было. Он сам это говорил. И мисс Элиот с нами согласилась...

Но мисс Элиот, высокая, седая, пододвигала в это время свой стул, чтобы дать место возле себя старику, который вошел с террасы. Этот ужин никогда не кончится, подумал Джейкоб, но ему и не хотелось, чтобы он кончался, хотя корабль переплыл пространство от одного угла оконной рамы до другого и зажегся огонь, показывавший, где конец пирса. Он увидел, что миссис Даррант смотрит на огонь. Она повернулась к нему.

— Кто был командиром, вы или Тимоти? — спросила она. — Простите, что я вас зову Джейкобом. Я столько о вас слышала. — Глаза ее снова обратились к морю. Они казались стеклянными, когда она смотрела в окно.

— Раньше это была маленькая деревушка, — сказала она, — а теперь разрослась, — Она поднялась и, не выпуская салфетки из рук, подошла к окну.

— А вы не ссорились с Тимоти? — застенчиво спросила Клара. — Я думаю, я бы ссорилась.

Миссис Даррант вернулась от окна.

— С каждым днем все позднее и позднее, — произнесла она, сидя очень прямо и оглядывая стол. — Вам должно быть стыдно — вам всем. Мистер Клаттербак, вам должно быть стыдно. — Она повысила голос, потому что мистер Клаттербак был глуховат.

— Нам стыдно, — сказала какая-то девушка. Но старик с бородой продолжал есть пирог со сливами. Миссис Даррант засмеялась и откинулась в кресле, как будто прощая его.

— Мы взываем к вам, миссис Даррант, — сказал рыжеусый молодой человек в очках с очень толстыми стеклами. — Я утверждаю, что условия были выполнены. Она должна мне золотой.

— Не до рыбы, а с рыбой, миссис Даррант, — уточнила Шарлотта Уайлдинг.

— Да, такое было пари, с рыбой, — серьезно подтвердила Клара. — Мама, это про бегонии. Он обещал съесть их с рыбой.

— О, господи! — сказала миссис Даррант.

— Шарлотта вам не заплатит, — вставил Тимоти.

— Как ты смеешь! — закричала Шарлотта.

— Предоставьте эту возможность мне, — сказал галантный мистер Уэртли, доставая серебряную коробочку, набитую золотыми, и бросая монету на стол. Затем миссис Даррант поднялась и двинулась к выходу, держась очень прямо, за ней последовали девушки в желтой, голубой, серебряной кисее, и немолодая мисс Элиот в бархате, и маленькая женщина в розовом, замешкавшаяся в дверях, чистенькая, безупречная, наверное, гувернантка. Все вышли в открытую дверь.

— Когда тебе будет столько лет, сколько мне, Шарлотта... — говорила миссис Даррант, взяв девушку под руку и прогуливаясь вместе с ней взад и вперед по террасе.

— А почему вы так печальны? — вырвалось у Шарлотты.

— Я кажусь тебе печальной? Неужели? — сказала миссис Даррант.

— Нет, вот только сейчас. Вам ведь не так много лет.

— Достаточно, чтобы быть матерью Тимоти. — Они остановились.

В углу террасы мисс Элиот смотрела в телескоп мистера Клаттербака. Глухой старик стоял рядом с ней, поглаживая бороду и называя имена созвездий:

— Андромеда, Волопас, Сидония, Кассиопея...

— Андромеда, — прошептала мисс Элиот, слегка поворачивая телескоп.

Миссис Даррант и Шарлотта поглядели на небо, туда, куда указывала труба инструмента.

— Звезд — *миллионы*, — убежденно проговорила Шарлотта. Мисс Элиот отвернулась от телескопа. В столовой расхохотались молодые люди.

— Можно *мне* посмотреть? — горячо попросила Шарлотта.

— А мне звезды быстро наскучивают, — призналась миссис Даррант, проходя по террасе с Джулией Элиот. — Я как-то читала книгу о звездах... О чем они разговаривают? — Она остановилась перед окном столовой. — Тимоти, — сказала она.

— Этот молчаливый молодой человек, — произнесла мисс Элиот.

— Да, Джейкоб Фландерс, — сказала миссис Даррант.

— Ой, мама! Я тебя не узнала, — воскликнула Клара, подходя вместе с Элсбет с другой стороны. — Как пахнет, — выдохнула она, разминая

лист вербены.

Миссис Даррант повернулась и отошла в сторону.

— Клара! — подозвала она. Клара направилась к ней.

— Как они непохожи, — заметила мисс Элиот.

Мимо прошел мистер Уэртли с сигарой.

— Я буквально каждый день обнаруживаю, что соглашаюсь... — говорил он, проходя мимо них.

— Так интересно угадывать, — пробормотала Джулия Элиот.

— Когда мы только вышли, видны были цветы на той клумбе, — сказала Элсбет.

— Сейчас почти ничего не видно, — отозвалась мисс Элиот.

— Она, наверное, была очень красива, и в нее все, конечно, были влюблены, — сказала Шарлотта. — Наверное, мистер Уэртли... — Она не кончила фразу.

— Смерть Эдварда была трагедией, — сказала мисс Элиот твердо.

Тут к ним подошел мистер Эрскин.

— Тишины в природе не существует, — заявил он. — В такой вечер, как сегодня, я могу различить два десятка разных звуков, не считая ваших голосов.

— Спорим, — предложила Шарлотта.

— Идет, — согласился мистер Эрскин. — Море — раз, ветер — два, собаки — три...

Остальные отошли.

— Бедный Тимоти, — сказала Элсбет.

— Чудесный вечер, — прокричала мисс Элиот в ухо мистеру Клаттербаку.

— Хотите посмотреть на звезды? — спросил старик, поворачивая телескоп к Элсбет.

— А вам не делается грустно, когда вы смотрите на звезды? — прокричала мисс Элиот.

— Господи помилуй, конечно нет, — засмеялся мистер Клаттербак, когда понял, о чем она спрашивает, — с чего это мне должно делаться грустно? Ни на одну секунду. Нет, конечно.

— Спасибо, Тимоти, но я иду в дом, — сказала мисс Элиот. — Элсбет, хочешь шаль?

— Я тоже иду, — пробормотала Элсбет, прильнув к телескопу. — Кассиопея, — прошептала она. — Где вы все? — воскликнула она, отрываясь от телескопа. — Как темно стало!

Миссис Даррант сидела в гостиной у лампы, сматывая клубок шерсти. Мистер Клаттербак читал «Таймс». В другом углу комнаты стояла вторая лампа, и вокруг нее молодые дамы блестели ножницами над расшитой серебром материей, готовясь к домашнему спектаклю. Мистер Уэртли читал книгу.

— Да, он совершенно прав, — сказала миссис Даррант, выпрямляясь и переставая сматывать шерсть, и пока мистер Клаттербак дочитывал речь лорда Лансдауна, она сидела прямо, не прикасаясь к клубку.

— А, мистер Фландерс, — произнесла она величественно, будто обращаясь к самому лорду Лансдауну. Затем вздохнула и снова стала сматывать шерсть.

— Сядьте туда, — велела она.

Джейкоб вышел из темноты у окна, около которого топтался. Свет заливал его, озаряя все поры на коже, но ни один мускул его лица не пошевелился, когда, усевшись, он стал глядеть в сад.

— Я хочу услышать рассказ о вашем путешествии, — сказала миссис Даррант.

— Да, — отозвался он.

— Двадцать лет назад мы тоже так плавали.

— Да, — повторил он. Она пристально посмотрела на него.

«Удивительно неловок, — подумала она, заметив, как он теребит носки. — Но какой благородный вид».

— В те дни... — продолжала она и рассказала ему, как они плыли... — мой муж замечательно в этом разбирался, у него была яхта еще до того, как мы поженились —...и как необдуманно они решили тягаться с рыбаками, и чуть не поплатились за это жизнью, но были так горды собой! — Она выбросила вперед руку, держащую клубок.

— Поддержать вам шерсть? — скованно предложил Джейкоб.

— Вы дома помогаете матери, — догадалась миссис Даррант, передавая моток и снова внимательно поглядев на него. — Да, так, конечно, гораздо удобнее.

Он улыбнулся, но ничего не сказал.

Элсбет Сиддонс, перекинув через руку что-то серебряное, кружила рядом с ними.

— Мы хотели бы, — пролепетала она. — Я пришла... — Она не договорила.

— Бедный Джейкоб, — сказала миссис Даррант негромко, как будто знала его всю жизнь. — Они собираются вас заставить принять участие в спектакле.

— Как я вас люблю! — закричала Элсбет, опускаясь на колени рядом с креслом миссис Даррант.

— Давайте сюда шерсть, — сказала миссис Даррант.

— Пришел! Пришел! Пришел! — завопила Шарлотта Уайлдинг, — Я выиграла!

— Там еще одна гроздь, выше, — пробормотала Клара Даррант, поднимаясь на следующую ступеньку стремянки. Джейкоб внизу держал стремянку, а она встала на цыпочки, чтоб дотянуться до высоко висевшей грозди винограда.

— Вот, — сказала она, перерезая стебель. Там, среди виноградных листьев и желтых и фиолетовых гроздей, среди плавающих вокруг островков света, она казалась полупрозрачной, бледной, восхитительно прекрасной. На толстых подставках стояли герани и бегонии в горшках, по стене взбирались помидоры.

— Листья, конечно, пора прореживать, — размышляла она, и один зеленый лист, распластаный как ладонь, полетел вниз, прокружившись над головой Джейкоба.

— Мне все равно уже столько не съесть, — проговорил он, глядя вверх.

— Это все же так нелепо, — начала Клара, — ехать сейчас в Лондон.

— Дико, — подтвердил Джейкоб.

— Тогда, — сказала Клара, — вы непременно должны приехать на будущий год, и по-настоящему, — добавила она, быстрым движением отхватив еще один виноградный лист, выбранный, пожалуй, наобум.

— Если только... если...

Ребенок с криком пробежал мимо оранжереи. Клара медленно спустилась со стремянки, держа корзинку с виноградом.

— Одна гроздь белого и две розового, — сказала она, укладывая поверх теплых, свернувшихся в корзинке гроздей два огромных листа.

— Мне было у вас очень хорошо, — произнес Джейкоб, обводя взглядом оранжерею.

— Да, мы замечательно провели время, — отозвалась она уклончиво.

— Ах, мисс Даррант, — проговорил он, забирая у нее корзинку с виноградом, но она быстро прошла мимо него к выходу из оранжереи.

«Ты очень хороший, очень», — повторяла она про себя, думая о Джейкобе, думая, что он не должен говорить, что любит ее. Нет, нет, нет.

Дети вихрем пронесли мимо двери, подбрасывая что-то в воздух.

— Безобразники! Что это у них? — спросила она Джейкоба.

— По-моему, луковицы, — ответил Джейкоб. Он смотрел на них не шевелясь.

— Не забудьте, Джейкоб, на будущий год в августе, — сказала миссис Даррант, пожимая ему руку на террасе, а над ее головой свисала фуксия, похожая на алую серьгу. Мистер Уэртли вышел на террасу в желтых шлепанцах, волоча за собой «Таймс», и очень дружески протянул ему руку.

— До свидания, — произнес Джейкоб. — До свидания, — повторил он. — До свидания, — сказал он еще раз. Шарлотта Уайлдинг распахнула окно своей комнаты и крикнула: — До свидания, мистер Джейкоб!

— Мистер Фландерс! — закричал мистер Клаттербак, пытаясь встать из своего круглого кресла. — Джейкоб Фландерс!

— Вы опоздали, Джозеф, — сказала миссис Даррант.

— Так мне и не попозировал, — вздохнула мисс Элиот, устанавливая на лужайке треножник.

— По-моему, все же, — сказал Джейкоб, вынимая трубку изо рта, — это Вергилий, — и, отодвинув стул, подошел к окну.

Самые бесшабашные водители на свете — это водители почтовых фургонов. Выезжая на Лэмз-Конduit-стрит, ярко-красный фургон так завернул у почтового ящика за угол, что задел край тротуара, и маленькая девочка, поднявшаяся на цыпочки, чтобы бросить письмо, оглянулась на него со смесью ужаса и любопытства. Она замерла, держа руку у щели ящика, затем бросила письмо и убежала. Как редко вид ребенка на цыпочках вызывает у нас жалость, чаще смутное неудовольствие, камешек в ботинке, который можно и не вытряхивать, — вот что мы ощущаем, и потому... — Джейкоб повернулся к книжному шкафу.

Когда-то здесь жила знать, и, возвращаясь за полночь от Двора, ламы ждали у резных дверей, подобрав атласные юбки, пока привратник поднимался с матраса на полу, застегивал второпях нижние пуговицы жилета и отворял им. Проливной дождь восемнадцатого века бурлил в водостоке. Сейчас, однако, Саутгемптон Роу в основном примечательна тем, что там непременно встретишь человека, который уговаривает портных купить у него черепах: «Сэр, смотрите, так подходит к твиду; то, что нужно господам, — оригинально и броско, а какие они у меня чистоплотные, сэр!» Так они расхваливают своих черепах.

На Оксфорд-стрит на углу около библиотеки Мюди все красные и синие бусины, съехав по нитке, жались друг к другу: там застряли омнибусы. Мистер Сполдинг, едущий в Сити, смотрел на мистера Чарльза Баджена, направляющегося в Шепард Буш. Близость омнибусов давала возможность тем, кто сидел у окна, рассматривать друг друга. Но мало кто ею пользовался. Каждый думал о своем. В каждом было заперто его прошлое, подобное страницам книги, известной наизусть; друзья читали на обложке название «Джеймс Сполдинг» или «Чарльз Баджен», а пассажиры, едущие в противоположную сторону, вообще ничего не могли прочитать, кроме «мужчина с рыжими усами» или «молодой человек в сером с трубкой». Октябрьское солнце застыло на этих неподвижно сидящих мужчинах и женщинах, а маленький Джонни Стерджен со своим огромным таинственным свертком, недолго думая, соскользнул со ступенек омнибуса, и вот, прошмыгнув между колесами, он выбрался на тротуар, принялся что-то насвистывать и скоро исчез из виду — навсегда.

Омнибусы рывком двинулись, и все пассажиры до единого почувствовали облегчение от того, что немножко приблизились к цели своей поездки; правда, некоторых манило не само предстоящее дело, а обещанное себе вслед за ним удовольствие — пирог с мясом и почками, кружка пива или партия в домино в прокуренном углу ресторана в Сити. Да, на империале омнибуса на Холборне, когда полицейский поднимает руку, а солнце бьет тебе в спину, жизнь человеческая даже весьма сносна, и если есть у человека панцирь, им самим сотворенный и для него подходящий, вот он здесь, на берегах Темзы, где сходятся великие улицы, и собор Святого Павла венчает его как завиток на панцире улитки. Джейкоб, выйдя из омнибуса, помедлил на ступеньках, взглянул на часы и, в конце концов, решил войти... Неужели это требует усилия? Да. Как нас изматывают эти перемены настроений.

Полумрак, и витают призраки из белого мрамора, и вечно поет для них орган. Ужасно, если скрипнет ботинок, и снова порядок, дисциплина. Жизнь разглаживается под жезлом служителя. Нежны и святы ангельские лица певчих. И, подымаясь над мраморными плечами, пробиваясь между сложенными пальцами, вечно звучат тоненькие высокие голоса и орган. Вечный реквием — покой. Уставшая от надраивания ступенек страховой компании «Пруденшл», которым она занималась вот уже сколько лет, миссис Лиджетт села у гробницы великого Герцога, сложила руки и прикрыла глаза. Хорошо отдыхать здесь старухе, совсем рядом с прахом великого Герцога, победы которого ничего для нее не значат, имени которого она не знает, хотя, направляясь к выходу, она никогда не забудет поприветствовать ангелочков напротив, мечтая о таких же на своей могиле, потому что кожаный занавес ее сердца широко распахнулся и на цыпочках вылезли мысли об отдохновении, нежные мелодии... А вот старый Спайсер, торговец джутом, ни о чем подобном не думал. Как ни странно, последние пятьдесят лет он в Соборе не бывал, хотя окна его конторы выходят на церковный двор. «Это что — все? Да, мрачно тут... А где могила Нельсона? Сейчас некогда — как-нибудь в другой раз, — надо бросить монетку в кружку. А что на улице — дождь или солнце? Хоть бы уж, наконец, погода установилась!» Бесцельно заходят дети — служитель их выпроваживает, — идут, идут, идут люди... мужчина, женщина, мужчина, женщина, мальчик... возводя глаза кверху, поджимая губы; одинаковые тени пробегают по одинаковым лицам; кожаный занавес сердца распаивается широко.

Когда глядишь со ступенек собора Святого Павла, кажется, нет ничего более достоверного, чем то, что чудесным образом каждый человек

снабжен сюртуком, юбкой, ботинками, доходом, каким-нибудь предметом в руках. Только Джейкоб, державший «Византийскую империю» Финлея, которую он купил на Ладгейт-хилл, несколько отличался от остальных, потому что в руках у него была книга, и эту книгу он у своего камина откроет ровно в девять тридцать и начнет изучать, и сделает это только он, и больше никто из огромного множества людей. У них нет домов. Им принадлежат улицы, магазины, церкви; еще — бесчисленные столы и длинные лампы в учреждениях; кроме того, фургоны и железная дорога, подвешенная высоко над землей. Если присмотреться, видно, как три старика на некотором расстоянии друг от друга устраивают на тротуаре паузы бега, словно они не на улице, а дома; а тут, около стены, сидит, уставясь в пространство, женщина, а рядом разложены шнурки, которые она никому не предлагает. И объявления принадлежат им, и то, что они сообщают. Разрушенный город, выигранные скачки. Бездомные, они кружат под небом, синеву или белизну которого скрывает плотный потолок из металлических опилок и лошадиного навоза, превратившегося в пыль.

Там, под зеленым абажуром, склонившись над белым листом бумаги, мистер Сибли переносит цифры в бухгалтерские книги, и на всех столах — груды бумаг, словно разложенный корм, дневной рацион, медленно поглощаемый трудолюбивыми перьями. Бесчисленные пальто установленного качества целый день висят пустые, но как только часы пробьют шесть, они аккуратно заполняются, и фигурки, расходящиеся книзу в брюки или отлитые в виде единой массы, угловатым движением подавшись вперед, проворно высыпаяют на тротуар и теряются в темноте. А под тротуарами глубоко в земле полые трубы, освещенные рядами желтых огней, вечно несут их туда и сюда, и большие буквы на эмалированных табличках означают в подземном мире парки, скверы и площади наземного. Марбл-Арч — Шепард Буш, для большинства и то, и другое навсегда остается лишь белыми буквами на голубом фоне. И только в одном месте — это может быть Эктон, Холлоуэй, Кенсал Райз, Калидониян-роуд — название означает магазины, куда ты ходишь за покупками, и дома, в одном из которых, на правой стороне, там, где из бульжника поднимаются подстриженные деревья, есть квадратное занавешенное окошко и твоя комната.

Уже совсем вечером у каменной стены Лондонского Союза и банка Смита сидит на складном табурете слепая старая женщина, прижимает к себе коричневую дворняжку и горланит песни не ради медяков, нет, а просто из глубины своего веселого, буйного сердца — грешного,

задубевшего сердца, потому что девочка, приходящая ее забрать, — плод греха и давно уже должна была бы спать в своей постельке за занавесками, вместо того чтобы слушать при свете фонаря буйное пение своей матери, которая опирается спиной о стену банка и распевает песни вовсе не ради медяков и прижимает собаку к груди.

Они идут домой. Их принимают серые шпили церквей, седая столица, старая, грешная и величественная. На берегу, круглые и остроконечные, пронзающие небо и вторгающиеся в него всей своей массой, как парусники, как гранитные утесы, бок о бок теснятся шпили и конторы, верфи и фабрики; денно и ночно плетутся паломники; на середине реки покоятся груженные баржи; столица, как полагают некоторые, любит своих проституток.

Вообще-то, этой чести, кажется, мало кто удостоивается. Из всех экипажей, отъезжающих от оперного театра, ни один не сворачивает в восточном направлении, и когда на пустой рыночной площади поймают воришку, не будет никого в черно-белом или розовом вечернем туалете, кто, остановив экипаж и держа руку на дверце, вмешается, чтобы помочь или осудить, хотя леди Чарльз, надо отдать ей должное, вернувшись домой, вздыхает, поднимаясь по лестнице, достает с полки Фому Кемпийского и не может уснуть, пока сознание наконец не заблудится, прорывая туннели в запутанности бытия. «Почему? Почему? Почему?» — вздыхает она. В общем, ходить пешком из театра полезно. Усталость — лучшее снотворное.

Осенний сезон был в самом разгаре. Дважды в неделю Тристан подтягивал плед повыше под мышками, а Изольда махала платком в чудесном единодушии с дирижерской палочкой. В театре куда ни глянь обнаруживались розовые лица и сверкающие груди. Когда внезапно протягивалась королевская рука, принадлежащая невидимому телу, и забирала с алого выступа ложи красно-белый букет, за английскую королеву хотелось умереть. Красота в ее тепличной разновидности (вовсе не самой худшей) цвела во всех ложах, и хотя ничего особо важного сказано не было, хотя единодушно признано, что остроумие покинуло прекрасные уста примерно ко времени смерти Уолпола, тем не менее, когда Виктория в своем капоте спускалась, чтобы встретить министров, губы ее (в бинокль) все-таки были розовые, прелестные. Лысые благородные господа, держа трости с золотыми набалдашниками, прогуливались по малиновым проходам в партере, и общение с ложами прекращалось лишь в тот миг, когда гас свет и дирижер, сперва поклонившись королеве, затем лысым господам, поворачивался на

каблуках и поднимал палочку.

Тогда две тысячи сердец в полутьме вспоминали, предчувствовали, принимались плутать по темным лабиринтам, и Клара Даррант навсегда прощалась с Джейкобом Фландерсом и вкушала сладость ненастоящей гибели, а миссис Даррант, сидящая за ней в темноте ложи, привычно горько вздыхала, а мистер Уэртли, ерзая, чтобы лучше видеть из-за спины супруги итальянского посла, думал, что Брангена чуть хрипловата, а высоко над их головами, подвешенный где-то на галерке, Эдвард Уиттакер украдкой подносил фонарик к своей крошечной партитуре, а... а...

Одним словом, наблюдатель захлебывается от впечатлений. Правда, чтобы не дать нам потонуть в хаосе, природа и общество, объединившись, придумали систему классификации, изумительную по своей простоте, — партер, ложи, амфитеатр, галерка. Углубления заполняются ежевечерне. Входить во всякие тонкости необязательно. Но главная трудность остается — надо выбирать. Потому что, хоть я и не испытываю никакого желания стать английской королевой — ну, разве что только на минутку, — я совсем не прочь посидеть с ней рядом, послушать, о чем сплетничает премьер-министр и что шепчет графиня, погружаясь в воспоминания о залах и садах; ведь массивные головы знати таят, наверное, какой-то только им понятный язык, иначе почему они столь непроницаемы? И потом, так интересно, отбросив свое собственное сознание, примерить на секунду какое-нибудь другое, чье угодно — стать доблестным мужем, который правит империей; перебирать в памяти во время пения Брангены отрывки из Софокла; или, когда пастух играет на дудочке, увидеть на одно мгновение мосты и акведуки. Но нет — надо выбирать. Нет и не было более жестокой необходимости! Необходимости, влекущей за собой большую боль, более неотвратимое несчастье, потому что куда ни сядешь, все равно умираешь в изгнании — как Уиттакер в меблированных комнатах, как леди Чарльз у себя в поместье.

Молодой человек с веллингтоновским профилем, который сидел в театре на месте за семь с половиной шиллингов, спустился, когда опера кончилась, по каменным ступенькам, как будто все еще силою музыки отделенный от остальных.

В полночь Джейкоб Фландерс услышал стук в дверь.

— Вот это да! — воскликнул он. — Тебя-то мне и нужно! — и без особых затруднений они отыскиали те строчки, которые он весь день не мог найти; только это был не Вергилий, а Лукреций.

— Да, от этого он взовьется, — сказал Бонами, когда Джейкоб кончил читать. Джейкоб был возбужден. Он в первый раз прочитал вслух свою статью.

— Вот мерзавец, а! — произнес он, хватая, пожалуй, через край, но похвала вскружила ему голову. Профессор Бултил из Лидса издал пьесы Уичерли, нигде, однако, не указав, что он выбросил, обесмыслил или просто обозначил звездочками ряд неприличных слов и несколько неприличных выражений. Это преступление, говорил Джейкоб, это подлог, не что иное, как ханжество, свидетельство порочного ума и гнусной душонки. Приводились цитаты из Аристофана и Шекспира. Разоблачалась современная жизнь. Всячески обыгрывалось профессорское звание, а Лидс, как цитадель учености, с презрением высмеивался. Что здесь было примечательно — это абсолютная правота молодых людей, примечательно, поскольку, уже переписывая рукопись набело, Джейкоб понимал, что никто ее не напечатает, и, разумеется, она вернулась из «Фортнайтли», из «Контемпорари», из «Найнтинс сенчури», и тогда Джейкоб бросил ее в черный деревянный сундук, где у него лежали письма от матери, старые летние брюки и несколько писем с корнуолльским штемпелем. Над правдой захлопнулась крышка.

Черный деревянный сундук, на котором еще можно было различить его имя, написанное белой краской, стоял в простенке между двумя высокими окнами в гостиной. Они выходили на улицу. Спальня, естественно, помещалась в глубине. Мебель — три плетеных кресла и раздвижной стол — переехала из Кембриджа. Эти дома (один из них принадлежал миссис Уайтхорн, дочери миссис Гарфит) были построены лет полтора назад. Комнаты приятной формы, высокие потолки, над дверью роза или баранья голова, вырезанные из дерева. У восемнадцатого века есть какое-то особое благородство. Даже панели, покрашенные в малиновый цвет, выглядят благородно...

«Благородство» — миссис Даррант говорила, что у Джейкоба «благородный вид». «Удивительно неловок, — говорила она, — но какой благородный вид». Это слово, несомненно, очень точно соответствует первому впечатлению. Откинувшись в кресле и вынимая трубку изо рта, он говорит Бонами:

— А что касается оперы (потому что с непристойностями они уже покончили)... У этого типа Вагнера...

Благородство — слово, которое напрашивается само собой, хотя, пожалуй, глядя на него, трудно сказать, где его место в театре — в партере, на галерке или в бельэтаже. Писатель? Но он не мнителен. Художник? Что-

то в форме рук (по материнской линии он принадлежал к роду вполне древнему и вполне неизвестному) указывало на тонкий вкус. А рот... но, разумеется, из всех бесплодных занятий подобное перечисление черт — самое неразумное. Хватило бы одного слова. Но где его взять?

«Мне нравится Джейкоб Фландерс, — записала Клара Даррант в своем дневнике. — Он такой несветский. Он не важничает, и ему можно сказать все, что взбредет в голову, хотя иногда я его боюсь, потому что...» Но мистер Леттс в своих шиллинговых дневниках отводит для записей довольно мало места. А Клара была не из тех, кто залезет на среднюю. Скромнейшая, правдивейшая из женщин! «Нет, нет, нет, — вздыхала она, стоя у дверей оранжереи, — не разрушь, не испортить» — что? Что-то бесконечно прекрасное.

Но это, конечно, всего лишь слова молодой женщины, к тому же женщины, которая любит или не позволяет себе любить. Ей хотелось, чтобы мгновение того июльского утра длилось вечно. А мгновения не делятся. И сейчас, например, Джейкоб рассказывал, как он однажды путешествовал пешком, и гостиница, где он остановился, называлась «Кипящий горшок», что, если учесть фамилию хозяйки... Они дико захохотали. Шутка была неприличной.

Потом еще Джулия Элиот сказала «молчаливый молодой человек», а так как ей случалось обедать с премьер-министрами, то, разумеется, она имела в виду «если он захочет чего-нибудь добиться в жизни, ему придется обрести дар речи».

Тимоти Даррант вообще никак не высказывался.

Горничная осталась очень довольна чаевыми.

Мнение мистера Сопвита было столь же сентиментально, сколь Кларино, но при этом гораздо ловчее выражено.

Бетти Фландерс обожала Арчера, с нежностью относилась к Джону — в Джейкобе ее необъяснимо раздражала его неуклюжесть.

Капитану Барфуту он нравился больше Арчера и Джона; но вот сказать почему...

Наверное, здесь в равной степени повинны и мужчины и женщины. Наверное, глубоких, беспристрастных и абсолютно справедливых суждений о себе подобных вообще не существует. Либо мы мужчины, либо — женщины. Либо равнодушны, либо увлечены. Либо молоды, либо стареем. В любом случае жизнь — это лишь шествие теней, и одному только Богу известно, почему мы так горячо их обнимаем и с таким страданием с ними расстаемся, если все мы тени. И почему, если это, а

также многое, многое другое верно, почему же все-таки мы, сидя в углу у окна, внезапно с удивлением осознаем, что на всем белом свете нет для нас никого реальнее, осязаемее и понятнее, чем вон тот молодой человек в кресле, — в самом деле почему? Ведь через секунду мы опять о нем ничего не знаем.

Таковы особенности нашего зрения. Таковы условия нашей любви.

(Мне двадцать два года. Кончается октябрь. Жизнь вполне приятна, хотя, к сожалению, вокруг невероятное количество дураков. Надо чем-нибудь заниматься — бог его знает чем. Вообще-то все ужасно весело, кроме того, что приходится утром рано вставать и еще носить фрак.)

— Слушай, Бонами, а что ты думаешь о Бетховене?

(Бонами — удивительный тип. Он знает все на свете — в английской литературе я, конечно, разбираюсь не хуже, но зато он читал всех этих французов.)

— По-моему, Бонами, ты говоришь чушь. Ведь бедняга Теннисом, наоборот...

(Дело в том, что французскому толком не учили. Сейчас, наверное, старина Барфут сидит и разговаривает с матерью. Странные, конечно, у них отношения. Но что-то я не вижу внизу Бонами. Проклятый Лондон!) — под окном гроыхали повозки, едущие с рынка.

— А что, если в субботу поехать прогуляться?

(Что у нас в субботу?)

Затем, вытащив записную книжку, он удостоверился, что к Даррантам зван на следующей неделе.

И хотя очень может быть, что все это так в самом деле и было, — так Джейкоб думал и говорил — так клал ногу на ногу — набивал трубку — потягивал виски и один раз заглянул в записную книжку, ероша при этом волосы, — все равно остается что-то, чего никто никому не сумеет передать, разве что сам Джейкоб. Более того, часть этого чего-то — вовсе никакой не Джейкоб, а Ричард Бонами, комната, повозки, едущие с рынка, время суток, данный момент истории. Учтите еще разницу полов — как между мужчиной и женщиной повисает нечто переменчивое, зыбкое, и потому кажется, будто здесь низина, там возвышенность, а на самом деле все, может быть, плоское, как моя ладонь. Даже точно воспроизведенные слова получают неправильные акценты. Но все-таки что-то заставляет нас кружить, как гудящая сумеречная бабочка у входа в таинственную пещеру, и наделять Джейкоба Фландерса всевозможными качествами, которых, наверное, у него и в помине нет, — потому что, хотя он, конечно, сидел и

разговаривал с Бонами, половина из того, что он сказал, была так скучна, что повторять не хочется, многое просто непонятно (о незнакомых людях и о парламенте), а остальное — по большей части домысел. И все-таки мы кружим и кружим над ним.

— Да, — сказал капитан Барфут, выбивая трубку о полку в камине Бетти Фландерс и застегивая сюртук, — работы вдвое больше, но я не против.

Он стал теперь членом городского совета. Они посмотрели в окно, за которым был вечер, такой же, как в Лондоне, только прозрачнее. Церковные колокола внизу, в городе, пробили одиннадцать. Дул ветер с моря. Окна в спальнях у всех были темны — спали Пейджи, спали Гарфиты, спали Крэнчи, — а в это время в Лондоне на Парламент-хилл сжигали чучело Гая Фокса.

VI

Пламя пылало вовсю.

— Смотрите, собор видно! — крикнул кто-то.

Когда дрова вспыхнули, на секунду озарился город; с трех других сторон костер окружали деревья. Среди лиц, выхваченных из тьмы, — молодых, живых, как будто написанных желтыми и красными красками, — самым примечательным было лицо одной девушки. Свет падал так, что казалось, у нее нет тела. Овал лица и волосы висели рядом с костром в темной пустоте. Словно замороженные блеском зелено-голубые глаза пристально смотрели в огонь. Все мускулы лица были напряжены. В том, как она смотрела, ощущалось что-то трагическое; на вид ей было лет двадцать — двадцать пять.

Чья-то рука, возникнув из подвижной темноты, надела ей на голову белый колпак Пьеро. Она дернула головой, не сводя глаз с огня. Над ней появилось лицо с бакенбардами. В костер бросили две ножки от стола и охапку сучьев и листьев. Все это, разгораясь, высветило множество лиц в глубине — круглых, бледных, гладких, бородатых, в котелках, внимательно вглядывающихся; высветило и собор Святого Павла, плывущий в клочковатом белесом тумане, и несколько узких белых как бумага церковных шпилей, похожих на огнетушители.

Огонь продирался сквозь сучья и гудел, когда вдруг взявшиеся бог знает откуда ведра выплеснули воду красивыми выгнутыми струями, похожими на отполированные черепаший панцири, потом плеснули еще раз и еще, и, в конце концов, раздалось шипение, напоминающее пчелиный улей, и все лица погасли.

— Ах, Джейкоб, — сказала девушка, когда они в темноте поднимались вверх по холму, — я так ужасно несчастна!

Отовсюду доносились раскаты хохота — заливистого, басовитого, кто-то вырывался вперед, кто-то отставал.

Зал в отеле был ярко освещен. Гипсовая оленья голова стояла на одном конце стола, на другом — какой-то римский бюст, размазанный черным и красным. Он должен был изображать Гая Фокса, которому посвящался праздник. Сидящих за столом соединяли гирлянды бумажных роз, так что когда они, скрестив руки, пели «Забыть ли старую любовь», желто-розовая цепь поднималась и опускалась вдоль всего стола. Страшно громко звенели зеленые бокалы. Встал какой-то молодой человек, и

Флоринда, схватив один из огромных фиолетовых шаров, лежащих на столе, швырнула его прямо ему в голову. Шар рассыпался в порошок.

— Я так ужасно несчастна, — сказала она Джейкобу, который сидел с ней рядом.

Стол отправился как будто на невидимых ножках в угол зала, и шарманка, украшенная красной тканью и двумя вазами с бумажными цветами, раскручиваясь, заиграла вальс.

Джейкоб танцевать не умел. Он стоял, прислонившись к стене, и курил трубку.

— Мы считаем, — сказали двое танцующих, отделившись от остальных и низко ему кланяясь, — что вы самый красивый человек на свете. — И они возложили ему на голову бумажные цветы. Потом кто-то принес белый с позолотой стул и усадил его. Проходя мимо, все вешали ему на плечи стеклянные побрякушки, и в конце концов он стал похож на носовое украшение затонувшего корабля. Потом Флоринда взобралась к нему на колени и спрятала лицо в его жилете. Одной рукой он придерживал ее, в другой была трубка.

— Давай поговорим, — сказал Джейкоб, шагая в пятом часу утра шестого ноября вниз по Хаверсток-хилл под руку с Тимми Даррантом, — о чем-нибудь серьезном!

Древние греки — да, вот о чем они говорили — о том, что в конечном счете, когда распробованы все литературы на свете, включая китайскую и русскую (хотя славяне, конечно, все-таки дикари), во рту остается вкус древнегреческой. Даррант цитировал Эсхила, Джейкоб — Софокла. Разумеется, ни один древний грек их бы не понял, и ни один профессор не удержался бы, чтобы не указать на... — но какое это имеет значение: для чего же еще существует древнегреческий, как не для того, чтобы декламировать стихи, стоя на рассвете на Хаверсток-хилл? И Даррант при этом прислушивался к Софоклу не больше, чем Джейкоб — к Эсхилу. Оба хвастались, ликовали, им обоим казалось, что они прочли все книги на свете, познали все грехи, страсти и радости. Цивилизации стояли вокруг как цветы, готовые к тому, что их вот-вот сорвут. Века плескались у ног как волны, по которым хоть сейчас отправляйся в плавание. И внимательно оглядев все это, маячащее в тумане, в свете фонарей, в сумеречном Лондоне, два молодых человека решили в пользу Древней Греции.

— Может быть, — сказал Джейкоб, — мы единственные люди на земле, которые по-настоящему понимают древних греков.

Они выпили кофе у стойки, где блестели кофейники и вдоль прилавка горели лампочки. Приняв Джейкоба за военного, хозяин рассказал ему про своего сына, который воюет в Гибралтаре, а Джейкоб обругал английскую армию и похвалил герцога Веллингтонского, и они стали дальше спускаться с холма, разговаривая о древних греках.

Странная вещь — если подумать — эта любовь к Древней Греции, расцветающая тайком, исковерканная, подавляемая, но прорывающаяся вдруг, особенно когда выходишь из комнат, набитых людьми, или когда надоедают все печатные тексты, или когда луна плывет по волнам холмов, или в пустые желтоватые бесплодные лондонские дни как спасительное снадобье, блестящий клинок, вечное чудо. Джейкобу его знания древнегреческого хватало лишь на то, чтобы с грехом пополам продрасть сквозь пьесу. Из древней истории он вообще ничего не знал. Однако когда они, печатая шаг, входили в Лондон, ему казалось, что у них под ногами звенят каменные плиты на пути в Акрополь и что, если бы Сократ увидел, как они приближаются, он воспрянул бы и сказал «любезные мои друзья», потому что им был так близок самый дух Афин — свободный, бесстрашный, пылкий... Она называла его Джейкобом, не спросив, можно ли. Она сидела у него на коленях. В Древней Греции так поступали все порядочные женщины.

В этот момент воздух взорвался от дрожащего, вибрирующего, жалобного стога, который, казалось, никак не мог набрать полную силу, но протяжно длился, и на этот звук в проулках мрачно распахивались двери, и тяжелой поступью выходили рабочие.

Флоринду тошнило.

Миссис Даррант, как всегда мучаясь бессонницей, поставила значок на полях против каких-то строчек «Ада».

Клара спала, зарывшись головой в подушки, на ее туалетном столике лежали облетевшие розы и пара длинных белых перчаток.

Флоринду, которая так и осталась в белом колпаке Пьеро, тошнило.

Комната ее казалась как будто нарочно созданной для такого рода неприятностей — дешевая, оклеенная обоями горчичного цвета, не то чердак, не то мастерская, причудливо украшенная звездами, вырезанными из серебряной бумаги, валлийскими шляпками и четками, свисающими с

газовых рожков. Что касается истории самой Флоринды, то именем своим она была обязана одному художнику, стремившемуся подчеркнуть, что цветок ее девичества еще не сорван. Как бы то ни было, она обходилась без фамилии, а родителей ей заменяла фотография надгробья, под которым, если верить Флоринде, лежал ее отец. Иногда она рассказывала, какого оно размера, кроме того, молва гласила, что отец Флоринды умер от увеличения костей, рост которых ничто не могло остановить, тогда как мать пользовалась расположением кого-то при Дворе, а порой и сама Флоринда оказывалась королевских кровей, правда, главным образом когда была пьяна. Предоставленная сама себе, к тому же хорошенькая, с трагическим взглядом и детским ртом, она говорила о девственности больше, чем обычно склонны женщины, и обнаруживалось, что либо она ее утратила только накануне, либо все еще дорожит ею больше, чем сердцем в груди, в зависимости от того, с каким мужчиной она разговаривала. Что же, она разговаривала только с мужчинами? Вовсе нет, у нее была душевная подруга — матушка Стюарт. Стюарты, как указывала эта дама, — фамилия королевской династии, но что отсюда следовало и чем она занималась, никому известно не было; знали только, что по понедельникам миссис Стюарт получает почтовые переводы, что у нее есть попугай и что она верит в переселение душ и умеет гадать по чаинкам. Рядом с целомудрием Флоринды она была как грязные обои в меблированных комнатах.

Утром Флоринда поплакала, а потом целый день гуляла по улицам; постояла в Челси, глядя, как течет река; послонялась у магазинных витрин; несколько раз в омнибусах открывала сумочку и пудрила щеки; читала любовные письма в кондитерской, прислонив их к кувшину с молоком; обнаружила в сахарнице стеклышко; обвинила официантку в том, что та хочет ее отравить; заявила, что молодые люди пьют на нее глаза, а ближе к вечеру вдруг заметила, что бредет по улице, на которой живет Джейкоб, и тут ее осенило, что этот человек, Джейкоб, нравится ей гораздо больше, чем какие-нибудь грязные евреи, и, подсев к его столу (он переписывал свою статью об Этике Непристойности), она стянула перчатки и рассказала ему, как матушка Стюарт ударила ее по голове чехольчиком для чайника.

Джейкоб поверил ей, когда она сказала, что целомудренна. Сидя у камина, она лепетала что-то о знаменитых художниках. Было упомянуто отцовское надгробье. Она казалась сумасбродной, хрупкой, красивой, и такими были женщины в Древней Греции, думал Джейкоб, и это и есть жизнь, а он мужчина, и Флоринда целомудренна.

Она ушла от него, зажав под мышкой томик стихов Шелли. Миссис

Стюарт, сказала она, часто говорит о нем.

Как прекрасны простодушные! Верить, что девушка сама по себе стоит выше любой лжи (потому что Джейкоб был не такой дурак, чтобы верить всему), завистливо удивляться ее неприкаянной жизни, по сравнению с которой его собственная кажется такой изнеженной и даже затворнической, — ведь у него под рукой, как дешевые снадобья от всяческих душевных недугов, Адонаис^[6] и пьесы Шекспира; воображать себе дружбу, такую пылкую с ее стороны, такую великодушную с его, но в которой оба равны, ведь женщины, думал Джейкоб, такие же люди, как и мужчины, — подобное простодушие и в самом деле прекрасно и, может быть, вовсе не так глупо.

Потому что когда Флоринда вечером пришла домой, она сперва вымыла голову, потом съела несколько штукешек шоколадных помадок, затем открыла Шелли. Разумеется, ей стало страшно скучно. Господи, да о чем это все? Ей пришлось держать с собой пари, что она сумеет дочитать страницу до конца, прежде чем возьмет еще одну помадку. В результате она уснула. Но ведь у нее был такой длинный день. Матушка Стюарт бросила в голову чехольчик... и на улицах всякие ужасающие сцены; и хотя Флоринда была чудовищно невежественна и вряд ли могла научиться читать как следует даже любовные письма, все-таки она испытывала какие-то чувства, предпочитала одних мужчин другим и вся без остатка отдавалась течению жизни. А сохранила она девственность или нет, видимо, вообще нисколько не важно. Если только, конечно, это не самое важное на свете.

После ее ухода Джейкоб не находил себе места.

Всю ночь неистовствовали мужчины и женщины, взлетая и падая во всем известном ритме. Те, кто поздно возвращались домой, видели тени за шторами и в самых респектабельных предместьях. Не было скверика в снегу или в тумане, в котором не сидели бы парочки. Все пьесы сводились к одному сюжету. В гостиничных номерах почти каждую ночь кто-нибудь пускал себе пулю в лоб по этой самой причине. Но даже если телу удастся избежать увечья, редкое сердце уходит в могилу без шрамов. В театрах и романах ни о чем другом практически не говорится. А мы утверждаем, что это не важно.

Да еще тут Шекспир, Адонаис, Моцарт, епископ Беркли — на любой вкус, и факт этот утаивается, и вечера у большинства из нас проходят весьма благопристойно, может быть, только с едва заметной дрожью, как бывает, когда змея проползает в траве. Но и само утаивание отвлекает голову от текстов и звуков. А вот если бы Флоринда соображала хоть

немного, она бы, наверное, могла читать внимательнее, чем мы. Она и ей подобные разрешили этот вопрос, превратив его в пустяк вроде ежевечернего мытья рук перед сном, когда единственное, что надо решить — холодной водой их мыть или горячей, а справившись с этим, голова может спокойно заниматься своим делом.

Но Джейкобу вдруг посреди ужина случилось-таки задуматься над тем, сообщает ли она вообще.

Они сидели за маленьким столиком в ресторане.

Флоринда поставила локти на стол, устроив подбородок в чашечке ладоней. Плащ ее соскользнул на пол. Она возвышалась над столом, золотая с белым, в ярких бусах, лицо выросло из тела, как цветок на стебле, невинное, чуть подрумяненное, взгляд, не таясь, блуждал по залу или медленно останавливался на Джейкобе. Она говорила:

— Ты помнишь тот большой черный сундук, который когда-то забыл у меня в комнате австралиец?.. По-моему, меха женщину старят... А вот идет Бехштейн... Я все пыталась себе представить, каким ты был в детстве, Джейкоб.

Она отщипнула кусочек булки и взглянула на него.

— Джейкоб. Ты похож на одну статую... По-моему, в Британском музее есть прелестные вещи. Правда? Там полно прелестных вещей, — говорила она мечтательно. Зал заполнялся, становилось жарко. Разговор в ресторане — все равно что разговор оглушенных сомнамбул: так много всякого вокруг, такой шум, другие разговоры. Можно подслушивать? Да, только *нас* нельзя.

— Она похожа на Эллен Нейгл, вон та девушка... — и так далее.

— Я ужасно счастлива, что с тобой познакомилась, Джейкоб. Ты такой хороший.

Народу в зале все прибывало, разговоры становились громче, ножи звенели сильней.

— Вот знаешь, почему она это говорит...

Флоринда замерла. Все остальные тоже.

— Завтра... воскресенье... мерзкий... врешь... убирайся! — Бац! И выбежала вон.

Голос, взвивавшийся все выше и выше, звучал за соседним с ними столиком. Внезапно женщина сбросила тарелки на пол. Мужчина остался сидеть. Все вокруг жадно глазеги.

Затем: «Вот бедняга. Не надо на него смотреть! Ну и дела! Слышала, что она сказала? Да, вид у него дурацкий. Наверное, не оправдал надежд.

Вся горчица на скатерти. Даже официанты смеются».

Джейкоб не сводил глаз с Флоринды. Что-то страшно бессмысленное было у нее в лице, когда она так сидела и пялилась.

Она выбежала вон, эта черная женщина с пляшущим пером на шляпе.

Но куда-то она должна была деться. Ночь — ведь это не черный бурный океан, в котором тонешь и все или плывешь как звезда. Собственно говоря, стояла сырая ноябрьская ночь. Фонари в Сохо отбрасывали на тротуар жирные пятна. В переулках было темно, и, прислонившись к дверям, мужчина или женщина становились невидимыми. Когда Джейкоб с Флориндой приблизились, кто-то двинулся прочь.

— Она уронила перчатку, — сказала Флоринда.

Джейкоб, бросившись вперед, отдал женщине перчатку. Она рассыпалась в благодарностях, пошла в другую сторону, снова уронила перчатку. Но зачем? Для кого?

Куда же тем временем пропала та, другая женщина? А мужчина?

Фонари не настолько мощны, чтобы нам об этом поведать. А голоса, сердитые, похотливые, отчаянные, страстные, едва ли отличаются от ночных голосов запертых в клетках зверей. Но ведь они не в клетках и не звери. Остановите человека, спросите его, как пройти, он вам скажет, но боязно его спрашивать. Чего мы боимся? Человеческого взгляда. Тротуар сразу делается уже, бездна — глубже. Вот! Они растворились в ней — и мужчина, и женщина. А дальше, назойливо выставляя напоказ свою добродетельную солидность, некий пансион, не задерживая шторы на окнах, приглашает всех желающих удостовериться в здоровье города. Вот они сидят, ярко освещенные, одетые как господа, в бамбуковых креслах. Вдовы коммерсантов старательно доказывают, что они в родстве с судьями. Жены торговцев углем незамедлительно отвечают, что их отцы держали свой выезд. Слуга приносит кофе, и приходится отодвигать корзиночку с вышиваньем. И дальше — сквозь темноту, мимо девушки, торгующей собой, мимо старухи, продающей спички и ничего больше, мимо толпы, выходящей из метро, мимо женщин в вуалях и, наконец, уже мимо одних только запертых дверей с резными косяками и одинокого полицейского Джейкоб с Флориндой под руку вернулся к себе и зажег свет, не говоря ни слова.

— Мне не нравится, когда ты такой, — сказала Флоринда.

Эта проблема неразрешима. Тело привязано к мозгу. Красота сочетается с глупостью. Вот она сидит, уставясь в огонь так же, как тогда

установилась на разбитую горчичницу. Несмотря на то, что он выступал в защиту непристойности, Джейкоб не был уверен, так ли она ему по душе на самом деле. Его вдруг сильно потянуло в мужское общество, к затворническому существованию, к сочинениям классиков. Он готов был гневно обрушиться на того, кто бы он ни был, кто так устроил жизнь.

Потом Флоринда положила ему руку на колено.

В общем-то, она была не виновата. Но эта мысль опечалила его. Вовсе не несчастья, не убийства, не смерти и болезни старят и убивают нас, а то, как люди смотрят, и смеются, и взбираются по ступенькам омнибусов.

Во всяком случае, для глупой женщины сойдет любая отговорка. Он сказал, что у него болит голова.

Но когда она взглянула на него, безмолвно, не то догадываясь, не то что-то поняв, может быть прося прощения, но так или иначе говоря теми же словами, что и он, «Я не виновата», такая стройная и красивая, с лицом под шляпкой словно в ракушке, тогда он понял, что затворничество и классики помочь тут никак не могут. Проблема эта неразрешима.

VII

В это самое время одна торговая фирма, связанная деловыми отношениями с Востоком, выпустила в продажу маленькие бумажные цветы, которые распускались, соприкоснувшись с водой. А так как после еды было принято пользоваться чашами для ополаскивания рук, новинка пришлась как нельзя более кстати. Пестрые цветочки плавали и скользили по поверхности спокойных озер, а иногда, размокнув, тонули и лежали камушками на стеклянном дне. За их судьбой следили внимательные прелестные глаза. Изобретение, которое приводит к союзам сердец и образованию семей, смело можно назвать великим. А ведь именно это и делали бумажные цветы.

Разумеется, не следует думать, что они вытеснили цветы живые. Розы, лилии и, конечно, гвоздики, выглядывая из-за ободков ваз, наблюдали за яркой, но скоротечной жизнью своих искусственных братьев. Это соображение высказал мистер Стюарт Ормонд, и оно было сочтено очаровательным, вследствие чего полгода спустя Китти Крастер вышла за мистера Ормонда замуж. Но без живых цветов никак не обойтись. Если бы только это удавалось, жизнь человеческая была бы совсем иной. Ведь цветы вянут, особенно хризантемы: вечером выглядят прекрасно, а наутро — желтые, поникшие, смотреть невозможно. В общем, хоть цена, конечно, немислимая, гвоздики выгоднее всего; единственное, что все-таки непонятно — следует ли скреплять их проволокой. В некоторых магазинах советуют это делать. На балу, естественно, нет другого способа их сохранить, но нужно ли так поступать, когда устраиваешь прием, если в комнатах не очень жарко, — вопрос спорный. Старая миссис Темпл говаривала, что лучше всего взять лист плюща — одного достаточно — и бросить в вазу. Она уверяла, что он целую неделю не дает воде застаиваться. Но есть некоторые основания полагать, что старая миссис Темпл ошибалась.

Визитные карточки, однако, с выгравированными на них именами, представляют собой проблему еще более серьезную, нежели цветы. Из-за них истоптано больше конских ног, истрачено больше кучерских жизней и изведено больше прекрасного послеполуденного времени, чем нам потребовалось, чтобы выиграть битву при Ватерлоо и вдобавок за это поплатиться. Безобразные эти карточки — источник такого же числа

роковых отсрочек, бедствий и тревог, как и сама битва. Бывает, миссис Бонем только что вышла, в другой раз она, наоборот, дома. Но даже если от визитных карточек когда-нибудь откажутся, хотя непохоже, все равно останутся необузданные силы, которые ураганами врываются в жизнь, губят утреннее прилежание и возмущают спокойствие полуденных часов, — это, конечно, портнихи и кондитерские магазины. На платье нужно шесть ярдов шелка, но если необходимо выбрать из шестисот фасонов, да еще из тысячи расцветок? И в ту же секунду надо срочно решить, как быть с пудингом с розочками из зеленого крема и бортиками из миндальной пастилы. Его должны были доставить — и не доставили.

По небу мягко, как красно-желтые фламинго, скользили вечерние часы. И неизменно их крылья погружались в полную темноту, например, в Ноттинг-хилле или в окрестностях Клеркенуэлла. Неудивительно, что итальянский язык так и оставался тайной за семью печатями, а рояль всегда играл одну и ту же сонату. Для того чтобы приобрести резиновые чулки для миссис Пейдж, вдовы шестидесяти трех лет, которая получает пятишиллинговое пособие для неимущих и то немного, чем может помочь ей единственный сын, работающий в красильне мсье Маки и в холодную погоду страдающий грудной болезнью, приходилось писать письма и заполнять колонки тем же круглым разборчивым почерком, которым в дневнике, выпущенном мистером Леттсом, было написано, что погода стоит чудесная, дети — безобразники, а Джейкоб Фландерс — человек несветский. Клара Даррант раздобывала чулки, играла сонату, ставила цветы в вазу, занималась пудингом, оставляла визитные карточки, а когда появилось великое изобретение — бумажные цветы, плавающие в чашах для ополаскивания рук, — была одной из тех, кто особенно восхищался их недолгой жизнью.

Нашлись и поэты, отметившие это событие. Например, Эдвин Маллет написал стихи, которые кончались:

Прочешь ответ во взгляде Хлои,

и которые заставили Клару покраснеть при первом чтении и рассмеяться при втором, потому что это было так похоже на Эдвина — назвать ее Хлоей, когда ее зовут Клара. Эдвин такой смешной! Но когда в одиннадцатом часу дождливого утра Эдвин Маллет принес свою жизнь к ее ногам, она выбежала из комнаты и заперлась в спальне, и Тимоти все утро не мог работать из-за ее рыданий.

— Вот что бывает, когда слишком много развлекаешься, — сурово сказала миссис Даррант, просматривая ее бальную книжечку, всю исчерканную одними и теми же инициалами — на сей раз, правда, другими, Р. Б. вместо Э. М., теперь это был Ричард Бонами, молодой человек с носом как у Веллингтона.

— Но я никогда не выйду замуж за человека, у которого такой нос, — сказала Клара.

— Чушь, — отрезала миссис Даррант. — «Однако я, наверное, чересчур строга», — подумала она про себя. Потому что Клара, потеряв всю свою веселость, разорвала бальную книжечку и бросила ее в камин.

Вот какие серьезные последствия имело изобретение бумажных цветов, плавающих в чашах.

— Пожалуйста, — сказала Джулия Элиот, занимая место у шторы почти напротив входа, — не знакомьте меня ни с кем. Я люблю быть зрителем. Самое занятное, — продолжала она, обращаясь к мистеру Салвину, которому из-за его хромоты поставили кресло, — самое занятное на вечере — наблюдать за людьми, как они приходят, уходят, приходят, уходят...

— Прошлый раз мы с вами встречались, — произнес мистер Салвин, — у Фаркуаров. Вот бедняжка, а? С чем только ей приходится мириться!

— Правда, очаровательна? — воскликнула мисс Элиот, когда Клара Даррант проходила мимо них.

— А кто из них?.. — спросил мистер Салвин, понижая голос и принимая шутливый тон.

— Их так много, — отвечала мисс Элиот. В дверях стояли три молодых человека, ища глазами хозяйку.

— Вы не помните Элизабет в ее годы, а я помню, — сказал мистер Салвин, — как она водила шотландские хороводы в Банхори. Кларе не хватает материнского темперамента. Она чуть вяловата.

— Какие разные люди здесь бывают! — проговорила мисс Элиот.

— К счастью, мы не обязаны слушаться наших вечерних газет, — сказал мистер Салвин.

— Я их никогда не читаю, — призналась мисс Элиот. — Я ничего не смыслю в политике, — добавила она.

— Рояль настроен, — сообщила Клара, проходя мимо них, — наверное, надо будет кого-нибудь попросить его передвинуть.

— Что, танцевать собираются? — спросил мистер Салвин.

— Вас никто не потревожит, — властным тоном сказала миссис Даррант на ходу.

— Джулия Элиот. Это действительно Джулия Элиот, — произнесла старая леди Хибберт, протягивая обе руки. — И мистер Салвин. Скажите, что с нами будет, мистер Салвин? При всем моем знании английской политики... Боже мой, мистер Салвин, я вспоминала вчера вечером вашего отца, он был одним из старейших моих друзей. Не говорите мне, что десятилетние девочки не влюбляются. Мне не было и тринадцати, когда я знала наизусть всего Шекспира, мистер Салвин!

— Вы шутите! — сказал мистер Салвин.

— Нисколько, — отвечала леди Хибберт.

— Ой, мистер Салвин, простите, пожалуйста...

— Я пересяду, если вы любезно согласитесь дать мне руку, — сказал мистер Салвин.

— Вы будете сидеть рядом с мамой, — заверила его Клара. — По-моему, все перешли сюда... Мисс Эдвардс, позвольте вам представить мистера Калторпа.

— Вы куда-нибудь уезжаете на Рождество? — спросил мистер Калторп.

— Если брат получит отпуск, — ответила мисс Эдвардс.

— В каком он полку? — спросил мистер Калторп.

— В двадцатом гусарском, — ответила мисс Эдвардс.

— Может быть, он знает моего брата? — спросил мистер Калторп.

— Простите, я, кажется, не расслышала вашу фамилию, — ответила мисс Эдвардс.

— Калторп, — сказал мистер Калторп.

— Но где доказательства, что обряд венчания был действительно совершен? — спросил мистер Кросби.

— Нет никаких оснований сомневаться в том, что Чарльз Джеймс Фокс... — начал мистер Берли, но тут миссис Стреттон поведала ему, что хорошо знает его сестру, гостила у нее всего полтора месяца назад и находит ее дом очаровательным, только для зимы чуть холодноватым.

— При том, как нынче девушки себя ведут... — говорила миссис Форстер.

Мистер Боули огляделся, заметил Роуз Шоу, подошел и, простирая к

ней руки, спросил: «Ну?»

— Ничего, — ответила она. — Ничего не вышло, хотя я нарочно оставляла их весь день наедине.

— Боже мой, боже мой, — вздохнул мистер Боули. — Я приглашу Джимми к себе завтракать.

— Но кто может устоять перед ней! — воскликнула Роуз Шоу. — Милая Клара, мне не хотелось бы тебя задерживать...

— Вы с мистером Боули о чем-то сплетничаете, я уверена, — сказала Клара.

— Жизнь — ужасна, жизнь — отвратительна! — воскликнула Роуз Шоу.

— В общем, ничего хорошего в этом нет, правда? — говорил Тимми Даррант Джейкобу.

— Женщинам нравится.

— Что нравится женщинам? — вмешалась Шарлотта Уайлдинг, подходя к ним.

— Откуда ты взялась? — удивился Тимоти. — Наверное, была уже где-нибудь в гостях...

— А почему бы и нет? — сказала Шарлотта.

— Спускайтесь все вниз, — велела Клара на ходу. — Веди Шарлотту, Тимоти. Здравствуйтесь, мистер Фландерс.

— Здравствуйтесь, мистер Фландерс, — сказала мисс Элиот, протягивая ему руку. — Как вы поживаете?

— Сильвия! Ах, кто ж она,
Та, что всех пленила? —

запела Элсбет Сиддонс.

Все застыли на своих местах или сели, если рядом был свободный стул.

— Ах, — вздохнула Клара, которая на полпути из комнаты остановилась возле Джейкоба.

— Так споем хвалу мы ей,
Сильвии прелестной,
Что пастушек всех милей
В стороне окрестной,

Ей — венки с полей^[7], —

пела Элсбет Сиддонс.

— Ах, — воскликнула Клара громко и захлопала в ладоши, не снимая перчаток, и Джейкоб, без перчаток, тоже хлопал, а потом она пошла вперед, чтобы пригласить тех, кто толпился в дверях, пройти в комнату.

— Вы теперь живете в Лондоне? — спросила мисс Джулия Элиот.

— Да, — сказал Джейкоб.

— Снимаете что-нибудь?

— Да.

— А вон мистер Клаттербак. Он всегда здесь бывает. Ему, к сожалению, не очень уютно дома. Говорят, миссис Клаттербак... — Она понизила голос. — Вот почему он так часто гостит у Даррантов.

— Вы ведь были у них, когда ставили пьесу мистера Уэртли? Ах, нет, нет, конечно же, в последний момент вы, кажется, получили... да, вы должны были встретиться с матерью в Харрогите, насколько я помню. В последний момент, да, да, да, когда все уже было готово, и костюмы сшиты, и все... Сейчас Элсбет опять будет петь. А Клара, наверное, будет ей аккомпанировать или переворачивать страницы мистеру Картеру. Ах, нет, мистер Картер играет один... Это Бах, — прошептала она, когда мистер Картер сыграл первые такты.

— Вы любите музыку? — спросила миссис Даррант.

— Да, слушать люблю, — ответил Джейкоб. — Но я совсем в ней не разбираюсь.

— Это очень мало кто умеет, — сказала миссис Даррант. — Вас просто, наверное, этому не учили. Почему это так, сэр Джаспер?.. Сэр Джаспер Бигем — мистер Фландерс. Почему это, сэр Джаспер, никого не учат самым необходимым вещам? — Она ушла, оставив их стоять у стены.

В течение следующих трех минут ни один из джентльменов не произнес ни слова; Джейкоб, правда, двинулся дюймов на пять влево, а потом на столько же вправо. Затем что-то буркнул и быстро пересек комнату.

— Вы не хотите пойти что-нибудь съесть? — спросил он Клару Даррант.

— Да. Мороженое. Немедленно. Сейчас.

Они пошли вниз.

Но на лестнице они встретили мистера и миссис Грешем, Герберта

Тернера, Сильвию Рашли и приятеля из Америки, которого те позволили себе привести. — Зная, что миссис Даррант... Чтобы показать мистеру Пилчеру... Мистер Пилчер из Нью-Йорка... А это мисс Даррант.

— О которой я столько слышал, — сказал мистер Пилчер, низко кланяясь.

И Клара его бросила.

VIII

Около половины десятого Джейкоб выходил из дому, хлопала его дверь, хлопали другие двери, покупал газету и садился в омнибус или, если была хорошая погода, шел пешком вместе с другими прохожими. Склонившаяся голова, письменный стол, телефон, книги в зеленых кожаных переплетах, электрический свет... «Подбросить угля, сэр?»... «Чаю, сэр?»... Разговоры о футболе: «Сорвиголовы», «Арлекины»; рассылный приносит первый вечерний выпуск «Стар», грачи из Грейз инн пролетают в вышине; веточки в тумане тоненькие, ломкие; и сквозь шум машин то и дело доносится голос: «Вердикт!.. — Вердикт!.. — Выиграно дело!.. — Выиграно дело!..» — а письма в корзинке накапливаются. Джейкоб их подписывает, и к вечеру, когда он снова надевает пальто, у него в мозгу оказывается разработана еще одна извилина.

Потом иногда партия в шахматы, иной раз синемаатограф на Бонд-стрит или просто возвращение домой под руку с Бонами, самой длинной дорогой, чтобы прогуляться: размеренная походка, голова откинута назад, весь мир — зрелище; молодая луна над колокольнями напрашивается на комплименты, высоко парят чайки, Нельсон на своей колонне глядит за горизонт, и мир — наш корабль.

А тем временем письмо бедной Бетти Фландерс, которое успело к вечерней почте, лежало на столе в прихожей — бедной Бетти Фландерс, выводившей на конверте: Джейкобу Алану Фландерсу, эсквайру, — как матери пишут имя сына — жирными голубыми буквами, напоминающими о том, как матери далеко в Скарборо строчат у камина, поставив ноги на решетку, когда после чая уже все убрано, и никак, никак не могут выразить того, что... ну, хотя бы вот этого: «Не знайся с дурными женщинами, будь хорошим мальчиком, носи теплое белье и приезжай, приезжай ко мне».

Но она ничего подобного не писала. «Помнишь ли ты старую мисс Уоргрейв, которая ухаживала за тобой, когда ты болел коклюшем? — писала она. — Она, бедняжка, наконец скончалась. Хорошо было бы, если бы ты им черкнул. Не так давно меня навестила Эллен, мы вместе ходили за покупками и чудесно провели день. Старый Маус еле-еле волочит ноги, приходится помогать ему взбираться даже на небольшие холмики. Ребекка, наконец, после того как не знаю уж сколько мы ее уговаривали, все-таки собралась к мистеру Адамсону, который сказал, что три зуба придется удалить. В этом году такая теплая весна — на грушевых деревьях уже

самые настоящие почки. А миссис Джарвис рассказывала...» Миссис Фландерс любила миссис Джарвис, неизменно повторяла, что та пропадает в их глуши, и хоть к сетованиям миссис Джарвис она никогда не прислушивалась, а когда та замолкала, говорила в ответ (подняв глаза, слюня нитку или снимая очки), что если корни ирисов укутать торфом, то мороз им не страшен или что Парроты в следующий вторник устраивают распродажу белья — «не забудьте», — чувства миссис Джарвис миссис Фландерс понимала прекрасно; а какие интересные письма она о ней писала, если бы можно было прочесть их по порядку, год за годом — неопубликованные сочинения женщин, написанные у камина жирными голубыми буквами, высушенные у огня, потому что промокашка истерлась до дыр, а перо треснуло и засорилось. Потом о капитане Барфуте. Его она называла Капитан, рассказывала о нем без утайки, но все же не вполне свободно. Капитан наводил для нее справки насчет земли у Гарфитов, советовал, каких цыплят приобрести, предсказывал доход или мучился от радикулита, или миссис Барфут неделями оставалась дома, или Капитан считал, что дела — в смысле политики — плохи, потому что, как прекрасно знал Джейкоб, иногда поздним вечером Капитан начинал рассказывать об Ирландии или об Индии, и тут миссис Фландерс погружалась в размышления о Морти, о своем брате, который так давно пропал — схватили ли его туземцы, затонул ли корабль? — тогда бы, наверное, Адмиралтейство поставило ее в известность?.. Капитан, как прекрасно знал Джейкоб, выбивал трубку, подымаясь, чтобы уйти, и с трудом наклонялся за клуб ком шерсти, закатившимся под стул. Снова и снова обсуждался вопрос о ферме, и она, душой все еще пылкая, хотя ей было уже за пятьдесят, рисовала себе будущие стаи леггорнов, кохинхинок, орпингтонов, подернутых, как Джейкоб, дымкой ее воображения, но таких же крепких, как и он; и, живая, энергичная, она снова по дому и отчитывала Ребекку.

Письмо лежало на столе в прихожей; Флоринда, придя вечером, захватила его с собой наверх и, целуя Джейкоба, положила на стол; а Джейкоб, узнав почерк, так и оставил его лежать там, под лампой, между коробкой с печеньем и табакеркой. Они закрыли за собой дверь спальни.

Гостиная ничего не знала и знать не хотела. Дверь была закрыта, а думать, что скрип означает что-нибудь кроме крысиной возни и пересохшего дерева — просто ребячество. Старые дома — это всего-навсего кирпич и дерево, пропитанные человеческим потом, пронизанные человеческой грязью. Но если бледно-голубой конверт, лежащий около коробки с печеньем, хранил какие-то чувства матери, то этот скрип и

внезапный шорох надрывал ей сердце. За дверью была непристойность, там происходило что-то страшное, и ее охватывал ужас, какой бывает при смерти или при родах. Лучше, может быть, ворваться туда и все увидеть своими глазами, чем оставаться за дверью и прислушиваться к тихому скрипу, к внезапному шороху, потому что сердце ее ныло и боль пронзала его. «Сын мой, сын мой», — закричала бы она, лишь бы только не видеть его распростертым с Флориндой, хотя, конечно, непростительно и неразумно так кричать матери троих детей, живущей в Скарборо. А виновата во всем Флоринда. Когда дверь отворилась и они вышли, миссис Фландерс чуть было на нее не набросилась, только первым показался Джейкоб — в халате, веселый, властный, здоровый и потому красивый, как нагулявшийся младенец, с чистым, незамутненным взглядом. За ним вышла Флоринда, лениво потягиваясь и позевывая, и стала перед зеркалом приводить в порядок волосы, пока Джейкоб читал материнское письмо.

Поговорим о письмах — как они приходят за завтраком или вечером, с желтыми или зелеными марками, которым штемпель дарует бессмертие, — ведь увидеть свое письмо на чужом столе — значит осознать, как скоро наши поступки отделяются и отдаляются от нас. Тут-то, наконец, и становится явной способность сознания жить независимо от тела, и мы боимся своего двойника, лежащего на столе, ненавидим его и даже хотели бы уничтожить. Конечно, есть письма, которые всего лишь сообщают, что ужин в семь, или просят прислать уголь, или назначают встречу. В них и почерк-то едва ощутим, не то что голос или выражение лица. Ах, но всякий раз, когда почтальон стучит в дверь и приходит письмо, кажется, что повторяется чудо — попытка что-то сказать. И письма чтимы от века, бесконечно отважны, одиноки и обречены.

Жизнь без них развалилась бы на части. «Приходите чай пить, приходите ужинать, в чем там дело? слышали новости? весело жить в столице, русский балет...» Вот наши подпорки и корсеты. Они шнуруют наши дни и превращают жизнь в безупречный шар. И все же, все же... когда мы идем в гости, когда, пожимая кончики пальцев, надеемся вскоре увидаться снова, вдруг закрадывается сомнение: а так ли мы проводим свои дни — драгоценные дни, число которых ограничено, и так скоро обнаруживается, что колода уже вся сдана, — пьем чай? ходим в гости? А приглашения накапливаются. А телефоны звонят. И куда бы мы ни поехали, провода и тоннели окружают нас и доносят голоса, которые стараются прорваться, пока не сдана последняя карта и дни не кончились. «Стараются прорваться», потому что, когда мы поднимаем чашку,

пожимаем руку, выражаем надежду, что-то нам шепчет: и это все? Я так никогда и не пойму, не овладею, не буду знать наверняка? Неужто мне суждено до конца моих дней лишь писать письма, посылать голоса, которые падают на накрытый стол и замирают в коридоре, договариваясь о встрече, пока жизнь убывает, все ходить в гости и пить чай? А все же письма чтимы от века и телефоны доблестны, потому что наш путь сиротлив, но раз мы связаны письмами и телефонами — значит, мы идем не одни и, пожалуй, — кто знает? — могли бы поговорить по дороге.

Что ж, некоторые пытались. Байрон писал письма. И Купер^[8]. Столетиями письменный стол хранил бумагу, предназначенную специально для общения друзей. Мастера слова, поэты на все времена откладывали нетленные листы ради тех, что обречены на гибель, и, отодвинув поднос с чаем, подсаживались к камину (потому что письма пишутся в тот час, когда темнота сгущается над ярко-красной пещерой) и стремились добраться, дотянуться, прорваться к одному-единственному сердцу. О, если бы только это было возможно! Но слова изнашивались от частого употребления, их хватают, вертят и бросают прямо на пыльную мостовую. Слова, которые мы ищем, висят ближе к стволу. Мы придем на рассвете и увидим — вот они, сладкие, спрятавшиеся в листве.

Миссис Фландерс писала письма; их писала миссис Джарвис; и миссис Даррант тоже; а матушка Стюарт буквально поливала письма духами, добавляя тем самым аромат, которого так недостает нашему языку; Джейкоб в свое время писал длинные письма об искусстве, нравственности и политике товарищам по университету. Письма Клары Даррант были совсем детские. Флоринда... но препятствие, которое вставало между Флориндой и ее пером, было совершенно непреодолимо. Представьте себе бабочку, муху или какое-нибудь другое насекомое с крыльшками, прилепившееся к пруту, облепленному грязью, который оно катает по странице. Орфографические ошибки она делала чудовищные. Чувства обнаруживала самые примитивные. Потом почему-то в письмах она оказывалась невероятно набожной. Кроме того, все было перечеркнуто, закапано слезами, несвязно, и оправдать ее могло только одно — что, впрочем, всегда оправдывало Флоринду — ее это волновало. Выразить чувство, которого она не испытывает, — к шоколадным ли помадкам, к теплой ли ванне или к собственному лицу в зеркале — для Флоринды было столь же невозможно, как глотнуть виски. Протест проявлялся бурно. Великие люди говорят правду, и эти шлюшки, которые таращатся на огонь, вытаскивают пудреницы и подкрашивают губы перед зеркальцем, являются (так думал Джейкоб) образцом нерушимой верности.

Потом он увидел, как она сворачивает на Грик-стрит под руку с другим.

Свет дугового фонаря заливал его с головы до ног. Секунду он стоял под ним неподвижно. По мостовой пробегали тени. Другие фигуры порознь и парами текли, переплетались и вытеснили Флоринду и ее спутника.

Свет заливал Джейкоба с головы до ног. Можно было разглядеть узор брючной материи, утолщения на трости, шнурки в ботинках, руки без перчаток и лицо.

Как будто камень размалывался в порошок, как будто белые искры сыпались с лилового точильного камня, помещавшегося у него в позвоночнике, как будто кабинка в американских горах, ухнув в глубину, так и летела, летела, летела вниз. Вот что было у него на лице.

Знаем ли мы, что было у него на душе, другой вопрос. Будучи на десять лет старше и другого пола, прежде всего пугаешься, затем охватывает страстное желание помочь, опрокидывающее здравый смысл, доводы разума и представление о времени суток, вслед за тем — гнев на Флоринду, на судьбу, а дальше ключом бьет ни на чем не основанный оптимизм: «На улице сейчас столько света, что все наши горести можно потопить в золоте!» Какой смысл говорить это? Ведь пока говоришь и оглядываешься назад на Шафтсбери авеню, судьба выдалбливает в нем отметину. Он повернулся, чтобы уйти. Последовать за ним в его комнату... нет, этого мы делать не будем.

Однако именно это мы, разумеется, и делаем. Он вошел и запер дверь, хотя городские часы поблизости едва пробили десять. В десять никто спать не ложится. Но никто и не собирался. Был темный январский вечер, но миссис Уагг стояла у себя на пороге, как будто ожидая, что что-то произойдет. Как бесстыжий соловей в мокрой листве, пела шарманка. Дети перебежали дорогу. Кое-где за входными дверьми видна была коричневая панельная обшивка... Странно движется мысль под чужими окнами. То ее отвлекает коричневая обшивка, то папоротник в горшке, то она делает несколько тактов вместе с шарманкой, то заражается бесшабашной веселостью пьяного, то просто впитывает в себя слова, которые бедняки кричат друг другу через улицу (так откровенно, так зычно), — но все время словно центр, словно магнит ее притягивает молодой человек, один в своей комнате.

«Жизнь ужасна, жизнь — отвратительна», — кричала Роуз Шоу.

Что в жизни странно — так это то, что, хотя природа ее, казалось бы, уже сотни лет должна быть очевидна всем и каждому, до сих пор не существует удовлетворительного ее описания. Имеются планы лондонских улиц, но нет карты, на которую нанесены наши страсти. Что будет, если вот здесь завернуть за угол?

«Прямо перед вами — Холборн», — говорит полицейский. Ах, но куда же попадешь, если, вместо того чтобы пробежать мимо седобородого старика с серебряной медалью и дешевой скрипкой, станешь, не перебивая, слушать его рассказ, который завершится приглашением зайти куда-то, очевидно, в его каморку рядом с Куинз-сквер, и там он покажет тебе коллекцию птичьих яиц и письмо от секретаря принца Уэльского, после чего (пропуская промежуточные этапы) оказываешься однажды зимним днем на Уэссекском побережье, откуда маленькая лодочка направляется к кораблю, а корабль отплывает, и на горизонте видишь Азорские острова, и фламинго поднимаются в воздух, и вот уже сидишь, потягивая ромовый пунш, у самого болота, изгнанный цивилизацией, потому что совершил преступление или подцепил, почти наверняка, желтую лихорадку... заканчивайте сами как хотите.

Подобные бездны на нашем непрерывном пути столь же часты, как перекрестки на Холборне. И все-таки мы стараемся двигаться вперед.

Роуз Шоу, немного возбужденно разговаривавшая с мистером Боули на вечере у миссис Даррант несколько дней тому назад, сказала, что жизнь ужасна, потому что мужчина по имени Джимми не хотел жениться на женщине, которую звали (если память не изменяет) Элен Эйткен.

Оба были красивы. Оба предельно скучны. Овальный чайный столик неизменно разделял их, и блюдо с печеньем было единственным, что он за все время ей преподнес. Он кланялся, она склоняла голову. Они танцевали. Танцевал он божественно. Они сидели вдвоем в нише, не произнося ни слова. Ее подушка была мокрой от слез. Добрый мистер Боули и милая Роуз Шоу изумлялись и расстраивались. У Боули была квартира в Олбани^[9]. Роуз возрождалась каждый вечер, когда часы били восемь. Все четверо воплощали высшую ступень цивилизации, а если вы станете утверждать, что владение языком тоже входит в наше культурное наследие, вам можно лишь ответить, что красота почти всегда нема. Мужская красота в соединении с женской рождает в наблюдателе чувство страха. Мне часто доводилось встречать их — Элен и Джимми, и сравнивать с плывущими кораблями, и опасаться за свое скромное ремесло. Или, скажем, случалось ли вам видеть великолепных колли, лежащих с

поднятыми головами в двадцати ярдах друг от друга? Подавая ему чашку, она ощущала знакомый трепет в бедрах. Боули все понимал и приглашал Джимми к себе на завтрак. Элен, наверное, изливала свои чувства Роуз. Что касается меня, то мне, признаюсь, чрезвычайно трудно разбираться в песнях без слов. А сейчас Джимми кормит ворон во Фландрии, а Элен ходит по госпиталям. Ах, жизнь страшна, жизнь ужасна, как сказала Роуз Шоу.

Лондонские фонари словно подпирают темноту кончиками горящих штыков. Желтый полог провисает и вздувается над огромной кроватью. Пассажиры в почтовых каретах, въезжавшие в Лондон в восемнадцатом веке, глядели вниз сквозь безлиственные ветви и видели, как он пылает под ними. Свет горит за желтыми шторами, за розовыми шторами, и наверху, в полукруглых окошках над дверьми, и внизу, в окнах подвалов. Огни буйствуют на уличном рынке в Сохо. В их полыханье видны кружки из грубого фарфора, куски сырого мяса и шелковые чулки. Грубые голоса вьются вокруг пылающих газовых рожков. Вот они стоят, подбоченясь, и горланят — господа Кеттл и Уилкинсон, а их жены сидят в лавках, укутав шеи в меха, скрестив руки на груди, и презрительно глядят вокруг. Каких только лиц тут нет. Маленький человечек, щупающий мясо, наверное, грелся у огня в бесчисленных ночлежках, и слышал, и видел, и знает столько, что кажется, оно само — причем очень живо — говорит о себе его темными глазами и толстогубым ртом, пока он молча щупает мясо, а лицо его печально как у поэта, хотя он не сложил ни единой песни. Женщины в шальных проносят младенцев с багряными веками, на углах стоят мальчишки, девушки смотрят через дорогу — грубые иллюстрации, картинки в книге, которую мы листаем и листаем, как будто должны, в конце концов, найти то, что ищем. Каждое лицо, каждый магазин, окно комнаты, пивная и темный сквер — лишь лихорадочно перелистываемые картинки — в поисках чего? И с книгами то же самое. Что мы ищем в этих миллионах страниц? И все же, с надеждой переворачивая страницу, — а, вот оно — комната Джейкоба.

Он сидел за столом и читал «Глоб». Розоватый газетный лист расстилался перед ним. Он подпирал щеку рукой, так что кожа лица собралась в складки. Он казался страшно суровым, непреклонным и неустрашимым. (Что человеку случается пережить в течение получаса! Но уже ничто не могло его спасти. Такие события определяют особенности нашего ландшафта. Едва ли приезжий не заметит в Лондоне собор Святого

Павла.) Он всматривался в жизнь. Эти розоватые и зеленоватые газеты, как тоненькие желатиновые пластинки, ежевечерне накладываемые на мозг и сердце мира. Они вбирают отпечатки со всего. Джейкоб скользил по ним взглядом. Забастовка, убийство, футбол, обнаруженные трупы, крики со всех концов Англии одновременно. Как жаль, что газета «Глоб» не может предложить Джейкобу Фландерсу ничего лучшего! Когда ребенок начинает учиться истории, мы с печальным изумлением слушаем, как своим юным голосом он выговаривает древние слова.

Изложение речи премьер-министра занимало пять с лишним колонок. Порывшись в кармане, Джейкоб вытащил трубку и стал ее набивать. Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Джейкоб перешел с газетой к камину. Премьер-министр предлагал меры по введению в Ирландии самоуправления. Джейкоб выбил трубку. Он наверняка думал о самоуправлении Ирландии — это очень сложная проблема. Очень холодный вечер.

Снег, который накануне шел всю ночь, в три часа дня покрывал поля и холм. На вершине холма торчали пучки прошлогодней травы, чернели кусты дрока, то и дело черный озноб пробегал по снегу, когда ветер порывами гнал перед собой смерзшиеся кучки. Свистело, как будто мела метла — шварк, шварк...

Вдоль дороги, никем не видимый, полз ручей. Сучки и листья застряли в замерзшей траве. Небо было угрюмым, а деревья казались сделанными из черного железа. Неколебимой суровостью веяло от всей местности. В четыре часа опять пошел снег. День кончился.

Окошко, светящееся желтым, футах в двух от холма одиноко сражалось с белыми полями и черными деревьями... В шесть часов мужская фигура с фонарем пересекла поле... Плот из веточек, наткнувшийся на камень, внезапно оторвался и поплыл к трубе... Снежный ком заскользил и сорвался с еловой ветви... Позже раздался скорбный крик... По дороге проехала машина, расталкивая темноту перед собой... За ней темнота опять сомкнулась.

Периоды полной неподвижности разделяли эти события. Казалось, земля была мертва... Затем старый пастух напряженной походкой пошел назад через поле. Жестко, мучительно ступалось по мерзлой земле, которая отзывалась на каждый шаг словно топчак. Усталые голоса часов всю ночь монотонно отмеряли время.

Джейкоб тоже слышал их, он поворошил уголь в камине. Поднялся.

Потянулся. И пошел спать.

IX

Графиня Роксбиер сидела во главе стола наедине с Джейкобом. Вскармливаемая деликатесами и шампанским по меньшей мере двести лет (а если считать по женской линии, то и все четыреста), графиня Люси выглядела вполне откормленной. Нос ее, разборчивый на запахи, был удлинен, словно постоянно приплюсывался, нижняя губа выступала узенькой красной полочкой, вместо бровей над маленькими глазками торчали песчаного цвета пучки, а подбородок тяжело повисал. За ее спиной (окно выходило на Гроувнор-сквер) на мостовой стояла Молл Пратт и торговала фиалками, а миссис Хильда Томас, подобрав юбки, собиралась пересечь улицу. Одна жила в Уолуорте, другая — в Патни. Обе были в черных чулках, но при этом миссис Томас еще куталась в меха. Сравнение с ними, безусловно, оказывалось в пользу леди Роксбиер. С чувством юмора у Молл обстояло лучше, но она была вспыльчива, к тому же глупа. Хильда Томас была насквозь фальшива, серебряные рамочки у нее на стенках висели косо, в гостиной стояли рюмки для яйца, а шторы на окнах никогда не поднимались. А вот леди Роксбиер, несмотря на некоторые недостатки своего профиля, когда-то замечательно охотилась с гончими. Она властно держала нож, а курицу, извинившись перед Джейкобом, ела руками.

— Кто это там проезжает? — спросила она Боксалла, своего дворецкого.

— Карета леди Фиттлмир, миледи, — это напомнило ей, что надо оставить визитную карточку и осведомиться о здоровье его светлости. «Грубая старая дама», — подумал Джейкоб. Вино было превосходно. Она называла себя старухой — «были так любезны пообедать со старухой», — ему это польстило. Она рассказывала о Джозефе Чемберлене, которого когда-то знала. Сказала, что Джейкоб должен прийти еще раз и познакомиться с... одной нашей знаменитостью. Тут вошла леди Алиса с тремя собаками на поводке, и Джеки бросился обнимать бабушку, а Боксалл принес телеграмму, и Джейкоба угостили отличной сигарой.

За секунду перед прыжком лошадь замедляет шаг, пятится, собирается в комок, вздымается как чудовищная волна и приземляется уже с другой стороны. Полукруг неба и изгородей ухает вниз. Затем, как будто твое тело слито с телом лошади и прыгали твои ноги, сросшиеся с ее передними

ногами, ты летишь, разрезая воздух, земля упруга, тела превратились в сплошные мышцы, и при этом ты правишь, застыв с прямой спиной, зорко примериваясь взглядом. Затем качание сменяется нестройными вертикальными ударами молотка, и резким толчком ты останавливаешься, слегка откинувшись назад, разгоряченный, со звоном в ушах, чувствуя, как колотящиеся артерии покрываются льдом, и выдыхаешь: «Уф! Фу! Ох!» — и пар идет от лошадей, когда они толкуются на развилках у столбов с указателями, и женщина в переднике стоит в дверях и смотрит, и мужчина подымается от капустных грядок и тоже смотрит.

Так Джейкоб скакал по эссекским полям, шлепнулся в грязь, отстал от охоты и поехал один, поедая сандвичи, заглядывая за изгороди, впитывая краски, как будто только что положенные, проклиная свое невезение.

Чай он пил в гостинице, и там уже были все, и похлопывали друг друга по спине, и притоптывали, и пропускали друг друга вперед, подстриженные, грубоватые, балагурящие, красные как индюшачьи бородки, не стесняющиеся в выражениях, пока на пороге не появилась миссис Хорсфилд и ее приятельница мисс Даддинг с подобранными юбками и одинаково опущенными на уши волосами. Затем Том Даддинг забарабанил в окно кнутовищем. Во дворе застукал мотор автомобиля. Джентльмены, нащупывая в карманах спички, вышли, и Джейкоб с Брэнди Джонсом пошли в буфет покурить с местными. Там они увидели старого одноглазого Джевонса, с мешком за спиной, в лохмотьях цвета дорожной грязи, мозги которого, казалось, были зарыты глубоко в земле среди корней фиалок и крапивы, Мэри Сандерс с деревянным сундучком и Тома — полоумного сына дьячка, которого послали за пивом, — и все это в тридцати милях от Лондона.

Миссис Папуорт с Энделл-стрит, Ковент-Гарден, приходила убирать к мистеру Бонами на Нью-сквер, Линкольнз инн, и когда она после обеда мыла посуду на кухне, она слышала, как за стеной в комнате разговаривают молодые господа. Опять там был мистер Сандерс, она имела в виду Фландерс; и если старуха, полная любопытства, не может даже имя запомнить правильно, есть ли хоть какой-то шанс, что она сумеет верно изложить суть спора? Споласкивая тарелки под струей воды и составляя их в стопку под шипящим газом, она прислушивалась — до нее долетало, как Сандерс громко говорит тоном, не допускающим возражений, — «добро», говорил он, и «абсолют», и «справедливость», и «возмездие», и «воля большинства». Затем вступил ее хозяин, в споре она болела за него, против Сандерса. Хотя и Сандерс был симпатичный

молодой человек (тут остатки еды закружились в раковине, которую выскабливали ее багровые пальцы почти что без ногтей). «Женщины», — пришло ей в голову, и она задумалась над тем, как дела у Сандерса и ее хозяина по *этой* части, одно веко у нее заметно опустилось, пока она размышляла, — она рожала девять раз — трое родились мертвыми и один глухонемым. Расставляя тарелки на полке, она снова услышала Сандерса. («Не дает Бонами слова вставить», — вздохнула она.) «Объективное что-то», — говорил Бонами, и «общность взглядов», и еще что-то — она отметила, что все слова очень длинные. «Из книжек нахваталась», — подумала она и, всовывая руки в рукава кофты, услышала, как что-то — похоже, столик у камина — упало, а затем топ-топ-топ, вроде стали носиться друг за другом по всей комнате, так что зазвенели тарелки.

— Ваш завтрак на завтра, сэр, — сказала она, открывая дверь, и увидела Сандерса и Бонами, которые как два Васанских^[10] быка гоняли друг друга туда-сюда и подняли страшный тарарам, двигая попадающиеся под руку стулья. Они и не слышали, как она вошла. «Дети», — подумала она. — Ваш завтрак, сэр, — сказала она еще раз, когда они оказались поближе к ней. И Бонами с взлохмаченными волосами и развевающимся галстуком остановился, толкнул Сандерса в кресло и сказал, что мистер Сандерс разбил кофейник и он хотел проучить мистера Сандерса...

И точно, на коврике у камина лежал разбитый кофейник.

«В любой день недели, кроме четверга», — писала мисс Перри, и это было далеко не первое приглашение. Неужели все дни недели, за исключением четверга, мисс Перри совсем ничего не делала и единственным ее желанием было увидеть сына давней приятельницы? Богатым старым девам время отпускается в виде длинных белых лент. Они их скручивают, скручивают, скручивают, скручивают с помощью пяти горничных, дворецкого, красивого мексиканского попугая, регулярного питания, библиотеки Мюди и навещающих друзей. Она уже была немножко обижена, что Джейкоб так долго не появлялся.

— Ваша матушка, — сказала она, — одна из старейших моих подруг.

Мисс Россетер, которая сидела у камина, защищая щеку от пламени журналом «Спектейтор», все отказывалась взять каминный экран, но в конце концов согласилась. Затем обсудили погоду, потому что из почтения к Парксу, расставлявшему столики, более серьезные темы были отложены. Мисс Россетер обратила внимание Джейкоба на то, как красив шифоньер мисс Перри.

— Так прекрасно умеет выбрать вещь, — сказала она. Мисс Перри

отыскала его в йоркшире. Обсудили север Англии. Когда говорил Джейкоб, они обе внимательно слушали. Мисс Перри как раз старалась припомнить что-нибудь подходящее к случаю и интересное мужчине, когда отворилась дверь и доложили о приходе мистера Бенсона. Теперь в комнате сидело четверо: мисс Перри, шестидесяти шести лет, мисс Россетер, сорока двух, мистер Бенсон, тридцати восьми, и Джейкоб, двадцати пяти.

— Мой друг в порядке, как всегда, — произнес мистер Бенсон, постучав по прутьям попугаевой клетки; одновременно мисс Россетер похвалила чай; Джейкоб протянул не те тарелки, а мисс Перри дала понять, что хочет познакомиться с ним поближе.

— Ваши братья... — начала она неуверенно.

— Арчер и Джон, — подсказал Джейкоб. Затем, к своему огромному удовольствию, она вспомнила имя Ребекки и как однажды, «когда вы все были маленькими мальчиками и играли в гостиной...».

— У мисс Перри ведь есть держалка для чайника, — вмешалась мисс Россетер, и действительно мисс Перри прижимала ее к груди. (В отца Джейкоба она была влюблена, что ли?)

«Так умно» — «хуже чем обычно» — «по-моему, просто несправедливо», — говорили мистер Бенсон и мисс Россетер, обсуждая субботний «Вестминстер». Ведь они были постоянными участниками конкурсов на приз газеты! Ведь мистер Бенсон трижды выигрывал по гинее, а мисс Россетер один раз десять с половиной шиллингов! Конечно, у Эдварда Бенсона было большое сердце, но участвовать в конкурсах, ласкать попугая, подольщаться к мисс Перри, презирать мисс Россетер, устраивать у себя чаепития (в комнатах в стиле Уистлера, с хорошенькими книжечками на столиках) — все это, — так думал Джейкоб, хотя он совершенно его не знал, — изобличало в нем болвана и ничтожество. Что касается мисс Россетер, она прежде ходила за раковым больным, а теперь писала акварелью.

— Вы так рано убегаете, — неуверенно произнесла мисс Перри. — Я дома каждый день, и если у вас найдется свободная минутка... кроме четверга.

— Я знаю, что вы не забудете ваших старых приятельниц, — проговорила мисс Россетер, а мистер Бенсон наклонился над клеткой с попугаем. И мисс Перри протянула руку к колокольчику...

Огонь горел между двумя колоннами из зеленоватого мрамора, а на каминной полке стояли зеленые часы, которые охраняла Британия,

опирающаяся на копьё. Что касается картин — девица в большой шляпе протягивала через калитку розы джентльмену, одетому по моде восемнадцатого века. Дог растянулся у обшарпанной двери. Окна внизу были из матового стекла, а шторы — плюшевые и тоже зеленые — аккуратно подвязаны.

Лоретта и Джейкоб сидели рядом на широченных стульях, обитых зеленым плюшем, положив ноги на каминную решетку. На Лоретте была короткая юбка, а ноги у нее были длинные, худые, в прозрачных чулках. Пальцами она поглаживала лодыжки.

— Не то что я их не понимаю, — говорила она задумчиво. — Надо пойти посмотреть еще раз.

— Когда ты там будешь? — спросил Джейкоб.

Она пожала плечами.

— Завтра?

Нет, не завтра.

— Такая погода, что хочется за город, — сказала она, поглядев через плечо на окно, в котором виднелись задворки высоких домов.

— Жаль, что тебя не было со мной в субботу, — произнес Джейкоб.

— Я когда-то ездила верхом, — ответила она. Она поднялась изящно, спокойно. Джейкоб встал. Она ему улыбнулась. Когда она закрыла дверь, он оставил на каминной полке целую кучу шиллингов.

В общем, вполне осмысленный разговор, вполне пристойная комната, умная девушка. Только в самой мадам, когда она провожала Джейкоба, ощущались та плотоядность, то распутство, та дрожь (в основном в глазах), которая грозит паденьем прямо на мостовую с трудом удерживаемого мешка с грязью. Короче говоря, что-то все-таки было не так.

Совсем недавно рабочие покрыли золотом последнюю букву в имени лорда Маколя, и имена под сводом Британского музея сомкнулись в кольцо. Под ними, довольно далеко внизу, у спиц огромного колеса, сидели сотни живых людей, превращая печатные тексты в рукописные; они иногда поднимались, чтобы справиться в каталоге, и крадучись возвращались на свои места, а молчаливый человек время от времени пополнял запасы в их ячейках. ^[11]

Случилась небольшая катастрофа. Стопка книг мисс Марчмонт закачалась и упала в ячейку Джейкоба. С мисс Марчмонт такое бывало. Что она искала в миллионах страниц, сидя в своем старом плюшевом платье, в парике бордового цвета, вся в украшениях и вся в цыпках? Порой одно, порой другое — для доказательства ее собственной теории, что цвет

есть звук, или, кажется, там было что-то про музыку. И если она никогда не знала, как ответить на этот вопрос, то уж, во всяком случае, не потому, что мало старалась. К себе она вас пригласить не могла — «там, к сожалению, неприбрано», — поэтому, чтобы изложить свою теорию, ей приходилось либо ловить вас в проходе, либо занимать стул в Гайд-парке. Ритм души объяснялся этой теорией (какие грубияны эти мальчишки! — говорила она) и политика мистера Асквита по ирландскому вопросу, и с Шекспиром это тоже было связано, «а королева Александра однажды милостиво приняла в дар мою книжечку», — говорила она, величаво отгоняя мальчишек. Но чтобы напечатать ее труд, нужны средства, ведь «издатели — капиталисты, издатели — трусы». И вот, задев локтем стопку книг, она ее опрокинула.

Джейкоб и бровью не повел.

Но Фрейзер, атеист, сидевший с другой стороны, ненавидящий плюш и неоднократно отбивавшийся от попыток всучить ему всякие брошюры, раздраженно заерзал. Ему была отвратительна любая неопределенность — христианство, например, или идеи настоятеля Паркера. Настоятель Паркер писал книги, а Фрейзер изничтожал их силой логики, и детей своих он не крестил — это тайком в тазике для умывания делала его жена, — но он не обращал на нее внимания и продолжал поддерживать богохульников, распространять брошюры, подбирать факты в Британском музее — всегда в одном и том же клетчатом костюме и оранжевом галстуке, бледный, прыщавый, раздражительный. Да и впрямь, уничтожить религию — дело непростое!

Джейкоб переписывал большой отрывок из Марло.

Мисс Джулия Хедж, феминистка, ждала, когда ей принесут книги. Их все не несли. Она пососала ручку. Осмотрелась. Взгляд ее упал на последние буквы имени лорда Маколея. Она прочитала их все по кругу — имена великих людей, напоминающие нам... «Черт побери, — сказала Джулия Хедж, — ну вот почему бы им не оставить место для какой-нибудь Джордж Элиот или Бронте?»

Бедная Джулия! Она с горечью сосет ручку и никогда не завязывает шнурки на ботинках. Когда принесли книги, она взялась за свой титанический труд, но все же успела заметить краем воспаленного сознания, как спокойно, бесстрастно и в то же время внимательно трудятся за своими столами мужчины вокруг. Например, этот молодой человек. Но что ему еще делать, кроме как списывать стихи? А она должна изучать статистику. Женщин больше, чем мужчин. Да, но если они станут работать наравне с мужчинами, они будут раньше умирать. Их просто не останется на белом свете. Так она рассуждала. Смерть, и желчь, и горечь тления были

на кончике ее пера, и, по мере того как день близился к концу, краска выступала у нее на скулах, глаза разгорались все ярче.

Но что заставило Джейкоба Фландерса читать в Британском музее Марло?

Юность, юность, в чем-то неистовая, в чем-то педантичная. Вот, например, существует мистер Мейсфилд, существует мистер Беннет. Да затолкать их в пламя Марло и сжечь там дотла. Чтоб ни клочка не осталось. Не возиться с посредственностями. Возненавидеть свое время. Создать лучшее. И для осуществления этой цели читать друзьям невыносимо скучные статьи о Марло. Для чего и требуется сличать издания в Британском музее. И сделать это надо самому. Нельзя же доверять викторианцам, которые выхолащивают самую суть, или нынешним — эти просто газетчики, и больше ничего. Плоть и кровь будущего целиком зависят от шести молодых людей. И так как Джейкоб был одним из них, нет ничего удивительного, что, переверачивая страницу, он выглядел величественно и весьма высокомерно и, разумеется, никак не мог понравиться Джулии Хедж.

Но тут мужчина с толстым мучнистым лицом передал Джейкобу записку, и Джейкоб, откинувшись на стуле, стал неловко шепотом с ним разговаривать, а потом они вместе вышли (Джулия Хедж за ними следила) и громко рассмеялись (представила она себе), как только оказались за дверью.

В читальном зале никто не смеялся. Там ерзали, шептались, сконфуженно чихали и внезапно беззастенчиво оглушительно кашляли. Час урока подходил к концу. Служители собирали работы. Лентяям хотелось потянуться. Хорошие ученики продолжали усердно скрипеть перьями — ах, еще один день прошел, а сделано так мало! И время от времени в этом огромном людском собрании раздавался тяжелый вздох, после чего суровый старичок, не стесняясь, кашлял, а мисс Марчмонт выпускала лошадиное ржанье.

Джейкоб вернулся как раз, чтобы успеть сдать книги.

Их расставляли по местам. Под сводами было разбросано несколько букв алфавита. Тесным кольцом под куполом расположились Платон, Аристотель, Софокл и Шекспир, литературы Рима, Греции, Китая, Индии, Персии. Одна страница стихов была крепко прижата к другой, одна блестящая буква аккуратно ложилась на другую в плотности смысла, в сосредоточении прекрасного.

— Хочется чаю, — проговорила мисс Марчмонт, забирая свой

потертый зонтик.

Мисс Марчмонт хотелось чаю, но она все-таки, как всегда, поддалась искушению взглянуть перед уходом на элгиновские мраморы^[12]. Она посмотрела на них сбоку, помахала рукой и пробормотала несколько приветственных слов, отчего Джейкоб и его спутник оглянулись. Она ласково им улыбнулась. Все это входило в ее теорию, что цвет есть звук, или, кажется, там было что-то про музыку. И, исполнив свой обряд, она, прихрамывая, побрела пить чай. Музей закрывался. Посетители стягивались в вестибюль, чтобы взять зонтики.

Читатели, как правило, ждут своей очереди очень терпеливо. Стоишь и ждешь, пока кто-то другой изучает белые кружочки, и отдыхаешь. Зонтик наверняка найдется. А пока вспоминаешь весь день — Маколея, Гоббса, Гиббона, книги в восьмушку, в четверть, в пол-листа, погружаешься все глубже и глубже сквозь пожелтевшие страницы и сафьяновые переплеты в самую плотность мысли, в сосредоточение прекрасного.

Трость Джейкоба ничем не отличалась от других — они, наверное, просто перепутали отверстия.

Британский музей похож на гигантскую голову. Представьте себе, что Платон существует там бок о бок с Аристотелем, а Шекспир — с Марло. Эта огромная голова набита такими сокровищами, какие не в силах вместить ни один отдельный ум. Тем не менее (раз они так долго ищут трость) трудно удержаться от мысли, что завтра можно прийти сюда с тетрадью, сесть за стол и все прочитать. Ученых людей всегда уважают — людей вроде Хакстэбла из колледжа Тринити, который, говорят, все письма пишет по-древнегречески и, наверное, сумел бы переспорить Бентли^[13]. А ведь есть еще точные науки, живопись, архитектура — гигантская голова.

Трость бросили на стойку. Джейкоб стоял под портиком Британского музея. Шел дождь. Грейт-Рассел-стрит блестела и сияла — тут желтым, там, около аптеки, — красным и голубым. Прохожие, пробегая, жались к стенам, экипажи довольно суматошно грохотали по мостовой. Ну, под таким дождичком пройтись не страшно. Джейкоб шел так, как шел бы за городом, и вечером он уже сидел за столом с трубкой и книгой.

Лил дождь. Британский музей возвышался огромной плотной горой, очень бледный, очень гладкий и блестящий под дождем, меньше чем в четверти мили от него. Огромная голова была покрыта камнем, и в каждой ячейке в ее недрах было сухо и спокойно. Ночные сторожа, направляя

фонарики на обложки Платона и Шекспира, следили за тем, чтобы двадцать второго февраля ни пожар, ни крысы, ни грабители не потревожили бы этих сокровищ, — бедные, почтенные сторожа, которые живут с женами и детьми в Кентиш Тауне и десятилетиями беззаветно пекутся о Платоне и Шекспире, а потом покоятся на Хайгейтском кладбище.

Плотно лежит камень над Британским музеем, как прохладная кость над видениями и жаром ума. Только тут ум — это разум Платона и Шекспира; разум, который создал все эти горшки и статуи, огромные печати и маленькие драгоценности и бессчетное число раз пересек туда и сюда реку смерти, ища себе пристанища, то крепко-накрепко спеленывая тело для долгого сна, то кладя монеты на глаза, то обращая ноги к востоку. Платон тем временем продолжает свой диалог, несмотря на дождь, несмотря на свистки экипажей, несмотря на то, что где-то рядом с Грейт-Ормонд-стрит женщина вернулась пьяная домой и кричит целый вечер: «Отоприте! Отоприте!»

Под окнами Джейкоба громко спорили.

Но он читал не отрываясь. Ведь Платон невозмутимо продолжает свой диалог. И Гамлет произносит «Быть или не быть». И лежат всю ночь элгиновские мраморы, и фонарь старого Джонса то высветит Одиссея, то лошадиную морду, а то блеснет золото или впалая желтая щека мумии. Платон и Шекспир не прерываются, и Джейкоб, читая «Федра»^[14], слышал людей, горланящих у фонаря, и женщину, которая билась о дверь и кричала «Отоприте!», так, как слышат стук угля, вывалившегося из камина, или мухи, что, упав с потолка, лежит на спинке и никак не может перевернуться.

«Федра» читать очень трудно. Поэтому, когда, в конце концов, начинаешь двигаться свободно, попадая в ритм, шагая вперед, становясь на мгновение (как кажется) частью этой невозмутимой силы, которая катится, расталкивая темноту перед собой, еще с тех пор как Платон бродил по Акрополю, следить за камином невозможно.

Диалог завершается. Закончено Платоново рассуждение. Оно хранится теперь в голове Джейкоба, и минут пять разум Джейкоба сам двигается вперед в темноту. Затем, поднявшись, он раздвинул шторы и увидел с удивительной ясностью, что Спрингеты напротив уже легли спать, что идет дождь, что у почтового ящика в конце улицы евреи спорят о чем-то с иностранкой.

Всякий раз, когда отворялась дверь и входили новые люди, те, кто уже

был в комнате, легонько двигались — стоявшие оглядывались, сидевшие замолкали посредине фразы. А еще свет, вино, гитарные переборы — что-то восхитительное происходило всякий раз, когда отворялась дверь. Кто это там вошел?

— Это Гибсон.

— Художник?

— Ну, рассказывай дальше.

Они рассказывали что-то очень, очень сокровенное, что не могло быть сказано так, сразу. И гул голосов казался маленькой миссис Уидерс трещоткой, вспугивающей стаю птичек, которые взлетали в воздух, — потом снова усаживались, но ей делалось страшно, она трогала рукой волосы, обвивала руками колени и, взволнованно поглядывая на Оливера Скелтона, говорила:

— Обещай, *обещай* мне, что никому не скажешь, — он был так внимателен, так чуток. Она рассказывала о своем муже. Ей казалось, он охладил к ней.

На них обрушилась роскошная Магдалена, загорелая, живая, необъятная, едва касающаяся травы ногами, обутыми в сандалии. Волосы ее разлетались, булавки едва скрепляли развевающиеся шелка. Конечно актриса, непрестанно ощущающая свет рампы. Она произнесла только «милый», но голос ее йодлем разнесся по альпийским ущельям. И она плюхнулась на пол и запела — а что ей было говорить? — посреди восхищенного аханья и оханья. Мангин, поэт, подошел к ней и стоял, глядя на нее сверху вниз, раскуривая трубку. Начались танцы.

Седая миссис Кимер попросила Дика Грейвза объяснить ей, что за человек Мангин, и прибавила, что она столько такого повидала в Париже (Магдалена забралась к нему на колени и сунула трубку себе в рот), что теперь ее ничем не удивишь.

— А это кто? — спросила она, поправляя очки, когда они проходили мимо Джейкоба, потому что он действительно стоял спокойно, но не безразлично, а так, как стоят на пляже, разглядывая людей.

— Ой, милый, можно я на тебя обопрюсь? — прыгая на одной ноге, попросила Элен Аскью — у нее на лодыжке развязался серебряный шнурок. Миссис Кимер отвернулась и стала рассматривать картину на стене.

— Погляди на Джейкоба, — сказала Элен (ему для какой-то игры завязывали глаза).

И Дик Грейвз, уже немножко захмелевший, очень верный и очень простодушный, сообщил ей, что, по его мнению, Джейкоб самый великий

человек на свете. И они сели, скрестив ноги, на подушки, сброшенные на пол, и поговорили о Джейкобе, и голос Элен дрожал, потому что они оба казались ей героями и их дружба в тысячу раз прекраснее, чем дружба между женщинами. Тут Энтони Поллет пригласил ее танцевать, и, танцуя, она оглядывалась и смотрела, как они вместе стоят у стола и пьют.

Великолепный мир — живой, нормальный, веселый.

...Эти слова, сказанные в третьем часу январской ночи, были обращены к деревянной мостовой на пути от Хаммерсмита к Холборну. Она стучала под ногами Джейкоба. Мир был великолепным и здоровым, потому что в одной комнате, в бельэтаже, неподалеку от реки, собрались пятьдесят возбужденных, разговорчивых, приветливых людей. А кроме того, быстро идти по улице (вокруг не было ни экипажей, ни полицейских) само по себе упоительно. Длинная петля Пиккадилли, простроченная бриллиантами, лучше всего выглядит, когда на ней ни души. И молодому человеку нечего опасаться. Наоборот, хотя, может быть, он и не сказал ничего блестящего, он уверен, что может за себя постоять. Он был рад, что познакомился с Мангином, восхищен молодой женщиной, сидевшей на полу; они все ему понравились; ему вообще такое нравилось. Короче говоря, били барабаны и пели трубы. На улицах встречались одни только уборщики мусора. Надо ли говорить, как симпатичны были они Джейкобу; с каким удовольствием он отпирал собственную дверь; как ощущал, что с ним в пустой комнате еще человек десять-одиннадцать, которых он не знал, выходя из дому; как он искал чего-нибудь почитать и нашел, но читать не стал и заснул.

Действительно, барабаны и трубы — это не пустые слова. Действительно, Пиккадилли, и Холборн, и пустая комната, и комната, набитая пятьюдесятью людьми, способны в любую секунду наполнить воздух музыкой. Ну, может быть, женщины впечатлительнее мужчин. Однако ведь об этом вообще редко говорят, и, глядя на толпы, спешащие по мосту Ватерлоо, чтобы успеть на экспресс в Сербитон, можно предположить, что они повинуются голосу рассудка. Нет, нет. Конечно, барабанам и трубам. Правда, если свернешь в маленькую нишу на мосту Ватерлоо, чтобы как следует это обдумать, все, наверное, покажется крайне запутанным и непостижимым.

Они идут по мосту непрекращающимся потоком. Иногда среди телег и омнибусов появится грузовик, который тащит из лесу огромные деревья. Потом, может быть, повозка каменотеса, а в ней надгробия с только что

выбитыми надписями, сообщающими, как кто-то любил кого-то, похороненного в Патни. Затем автомобиль впереди резко трогается, и надгробия проскакивают так быстро, что больше ничего не успеваешь прочитать. Все это время безостановочно идет людской поток, он движется со стороны Суррея к Стрэнду и со Стрэнда в сторону Суррея. Кажется, что бедняки совершали набег на город, а теперь тащатся восвояси, как жуки, семенящие в свои норки; вот эта старушка едва ковыляет в направлении Ватерлоо, прижимая к себе блестящую сумочку, словно она выползала на свет, а теперь, прихватив какие-то обглоданные куриные косточки, спешит в свое подземное убежище. А рядом, хотя дует сильный ветер, и к тому же в лицо, идут девушки, которые держатся за руки, и громко поют, и, кажется, не ощущают ни холода, ни стыда. Они простоволосы. Они ликут.

Ветер вздувает волны. Река мчится вниз, и тем, кто стоит на баржах, приходится всем телом наваливаться на румпель. Черный непромокаемый брезент покрывает выступающую под ним грудку золота. Черным поблескивают лавины угля. И, как всегда, на зданиях больших прибрежных отелей подвешены маляры в люльках, а на оконных стеклах уже зажглись точки света. Другая сторона города побелела, словно от времени, и белый собор Святого Павла нависает над резными, остроконечными или прямоугольными соседними зданиями. Только крест блестит розовой позолотой. Но в каком мы столетии? Или процессия со стороны Суррея к Стрэнду движется вечно? Этот старик идет по мосту вот уже шестьсот лет, и мальчишки гурьбой бегут за ним следом, потому что он пьян или ослеп с горя и обмотан старыми лохмотьями, какие, наверное, носили еще паломники. Шаркая, он все идет и идет. Никто не стоит на месте. Похоже, мы шагаем под музыку, может быть, ветра и реки, а может быть, опять те самые барабаны и трубы — восторг и шум души. Господи, ведь смеются даже несчастные, и полицейский, нисколько не осуждая пьяницу, добродушно его разглядывает, и снова бегут мальчишки, подпрыгивая на ходу, и служащий из Сомерсет-хауса^[15] настроен снисходительно, и человек у книжного лотка, уткнувшийся с середины страницы в «Лотарио»^[16], подняв глаза от книги, полон благожелательности, и девушка, поколебавшись на перекрестке, обращает к пьяному ясный, но невидящий взгляд юности.

Ясный, но невидящий. Ей года двадцать два. Одета она бедно. Она переходит улицу, глядя на нарциссы и красные тюльпаны в витрине цветочного магазина. Поколебавшись, направляется к Темпл-Бар. Она идет

быстро, но беспрестанно отвлекается. То словно видит все, то ничего не замечает.

На заброшенном кладбище прихода Сент-Панкрас Фанни Элмер побродила между белыми надгробиями, привалившимися к стене, ступая на траву, чтобы прочитывать фамилии; стремительно двинулась прочь, заведя кладбищенского сторожа; стремительно выбралась на улицу и пошла по ней, то застывая у витрины с синим фарфором, то, как будто чтобы наверстать потраченное время, врываясь в булочную за булочками, потом вернувшись еще и за кексами и снова идя вперед, да так, что, захоти кто за ней угнаться, ему пришлось бы бежать трусцой. Она казалась одетой бедно, но не убого. На ней были шелковые чулки и туфли с серебряными пряжками; правда, красное перо на шляпке повисло и сумочка, видимо, плохо закрывалась, потому что оттуда выпала программка из Музея мадам Тюссо. Ее лодыжки напоминали олени. Лица видно не было. Конечно, проворные движения, быстрые взгляды и взмывающие надежды вполне естественны в таких сумерках. Она прошла прямо под окном Джейкоба.

Дом был гладкий, темный, молчаливый. Джейкоб сидел у себя и решал шахматную задачу, поставив доску на табуретку между коленями. Одной рукой он ерошил волосы на затылке. Затем медленно протянул руку, поднял над полем белого ферзя, но поставил его на то же самое место. Набил трубку, подумал, передвинул две пешки, сделал ход белым конем, потом задумался, касаясь пальцем слона. В этот момент Фанни Элмер прошла под его окном.

Она шла позировать художнику Нику Брамему.

Она сидела в цветастой испанской шали, держа в руке желтую книгу.

— Чуть ниже, посвободнее... так... уже лучше... хорошо, — бормотал Брамем; он рисовал ее, и одновременно курил, и, естественно, не мог говорить. Голова его казалась вылепленной скульптором, который сделал ему квадратный лоб, растянул рот и оставил на глине вмятины и полосы от пальцев. Но глаза всегда были открыты. Чуть навекате, чуть воспаленные, словно от постоянного всматривания, они на секунду встревожились, когда он заговорил, но продолжали всматриваться. Над головой Фанни висела голая электрическая лампочка.

А женская красота подобна солнечному блеску на море, который не может принадлежать одной-единственной волне. Все они загораются, все

они гаснут. То женщина скучна и толста, как ветчина, то прозрачна, как подвешенное стеклышко. Скучны застывшие лица. Вот леди Венис — выставленная для всеобщего восхищения, но гипсовая и словно пылящаяся на каминной полке. А брюнетка, одетая с иголочки, само совершенство с головы до ног, кажется просто картинкой, положенной в гостиную на стол. Женские лица на улице напоминают игральные карты — внутри ровненько закрашено розовым или желтым и резко обведено по контуру. И вдруг видишь настоящую красоту — она смотрит, высунувшись из чердачного окошка, или прячется в углу омнибуса, или сидит на корточках в канаве, — сияющую красоту, внезапно явившуюся и тут же исчезающую. На нее нельзя рассчитывать, ее нельзя схватить или завернуть в бумагу. И магазины здесь бессильны — видит бог, уж лучше сидеть дома, чем торчать у зеркальных витрин, надеясь, что вот эту ослепительность зеленого или пыльное алого удастся вынести оттуда не погубив. Шелка теряют блеск, как морское стеклышко на блюде. Так что когда говоришь о красивой женщине, говоришь лишь о том мимолетном, что на секунду выбрало глаза, губы, лицо, скажем, Фанни Элмер, чтобы там просиять.

Она не была красива, пока сидела неподвижно, — нижняя губа выпячена, нос великоват, глаза посажены слишком близко друг к другу. Худенькая, с горящими щеками, темноволосая, сейчас она хмурилась, или просто оцепенела от долгого сидения. Когда Брамем с треском разломил уголь, она вздрогнула. Брамем злился. Он присел у газовой горелки согреть руки. Она тем временем посмотрела на рисунок. Он захмыкал. Фанни накинула халат и поставила чайник.

— Господи, до чего же плохо, — произнес Брамем.

Фанни опустилась на пол, обхватила руками колени и поглядела на него своими прекрасными глазами — да, красота, пролетая по комнате, зажглась на секунду в ее глазах. Глаза Фанни, казалось, спрашивали, жалели, даже — пусть на секунду — любили. Но старалась она напрасно. Брамем ничего не заметил. А когда закипел чайник, она поднялась на ноги, напоминая скорее жеребенка или щенка, чем любящую женщину.

Джейкоб в этот момент подошел к окну и стоял там, засунув руки в карманы. Мистер Спрингет, из дома напротив, вышел на улицу, посмотрел на свою витрину и возвратился обратно. Мимо пробрели дети, заглядываясь на сладкие розовые палочки. Почтовый фургон Пикфорда заворачивал за угол. Маленький мальчик увильнул от кнута. Джейкоб отвернулся. Две минуты спустя он открыл входную дверь и направился в сторону Холборна.

Фанни Элмер сняла с крючка плащ. Ник Брамем отколол свой рисунок и, свернув его трубочкой, сунул под мышку.

Они потушили свет и зашагали по улице, пробираясь среди людей, автомобилей, омнибусов, повозок, пока не оказались на Лестер-сквер пятью минутами раньше, чем туда подошел Джейкоб, потому что ему было чуть дальше идти и на Холборне его задержала толпа, ожидавшая проезда королевского экипажа, так что Ник и Фанни уже стояли, облокотившись о барьер в фойе «Эмпайра»^[17] когда Джейкоб, пройдя через распашные двери, стал неподалеку от них.

— Привет, я тебя только сейчас заметил, — сказал Ник еще пять минут спустя.

— Черт возьми, — сказал Джейкоб.

— Мисс Элмер, — представил Ник.

Джейкоб очень неловко вынул трубку изо рта.

Он был очень неловок, И когда они сидели на плюшевом диване, и пускали дым в пространство между собой и сценой, и слушали доносящиеся издали высокие голоса и заигравший в положенное время веселый оркестр, он по-прежнему был неловок, но Фанни только думала: «Какой красивый голос!» Она думала, как мало он сказал, а при этом как уверенно. Она думала, с каким достоинством и отчуждением держатся молодые люди, как они погружены в себя и как можно тихонько сидеть рядом с Джейкобом и смотреть на него. А как он, наверное, похож на маленького мальчика, когда вечером усталый приходит домой, и одновременно как величествен и даже, возможно, чуть деспотичен. «Но я бы не стала уступать», — думала она. Он поднялся и облокотился о барьер. Дым окутывал его.

А красота молодых людей спокон веку кажется неотъемлемой от дыма даже тогда, когда они со страстью носятся по футбольному полю, гоняют мячик в крикете, танцуют, бегают или шагают по дорогам. Может быть, им суждено вскоре ее потерять. Может быть, они смотрят в глаза далеким героям и лишь полупрезрительно снисходят до нас, думала она (трепеща как скрипичная струна, готовая отдаться музыке и разорваться). Как бы то ни было, они предпочитают молчать, а говорят красиво, каждое слово падает, словно только что вырезанная пластинка, а не дзинь-дзинь-дзинь маленьких гладких монеток, как у девушек; и двигаются так решительно, будто твердо знают, где сколько постоять и когда отойти, — ах, мистер Фландерс просто ходил покупать программки.

— Балет будет в самом конце, — объявил он, возвращаясь к ним.

И правда же славно, продолжала думать Фанни, что молодые люди не засовывают мелочь в кошелек, а достают ее из карманов брюк и рассматривают?

Потом она сама кружилась в белой пачке по сиене, и музыка была танцем и порывом ее собственной души, и в эти стремительные вихри и падения с легкостью вкручивались все механизмы, все шестеренки мира, так казалось ей, когда она стояла неподвижно, облокотившись о барьер в двух футах от Джейкоба Фландерса.

Ее стиснутая в комок черная перчатка упала на пол. Когда Джейкоб протянул ей эту перчатку, она негодуя вздрогнула. Потому что никогда еще на свете не было страсти более безрассудной. И Джейкоб на секунду ее испугался — так отчаянно, так грозно выглядят молодые женщины, когда стоят неподвижно; хватаются за барьер; когда ими овладевает любовь.

Была середина февраля. Крыши Хампстед-Гарден-Саберба^[18] тонули в дрожащей дымке. Было так жарко, что не хотелось двигаться. Внизу, в лощине, все лаяла и лаяла собака. Прозрачные тени пробежали по равнине.

Тело, после долгой болезни истомленное, безвольное, тянется к сладкой свежести, но не в силах вобрать ее. Слезы накапливаются и падают, а в лощине лает собака, и дети несутся за обручем, и земля темнеет и светлеет. И все это словно завешено вуалью. Ах, если бы только вуаль была плотнее, а то я сейчас упаду в обморок от этой сладости. Фанни Элмер, сидевшая на скамейке на Джаджес-уок, вздохнула, глядя на Хампстед-Гарден-Саберб. Но собака все лаяла. На дороге гудели автомобили. Она слышала доносившиеся издали движение и гул. Волнение переполняло ее. Она поднялась и пошла. Трава была молодая, зеленая, солнце припекало. Вокруг пруда дети, наклоняясь, пускали кораблики или ревели, оттаскиваемые няньками.

В полдень на улицу выходят молодые женщины. Мужчины заняты в городе. А они стоят у края синего пруда. Свежий ветер разносит повсюду голоса детей. «*Моих детей*», — подумала Фанни Элмер. Женщины стоят вокруг пруда, отгоняя больших приплясывающих пуделей. Тихо качается младенец в коляске. Взгляды всех нянек, матерей, прогуливающихся женщин слегка затуманенные, отрешенные. Они тихо кивают, не отвечая, когда маленькие мальчики теребят их за юбки и просят идти дальше.

И Фанни пошла дальше и услышала непонятный звук — может быть, свист какого-нибудь рабочего — высоко в воздухе. Нет, в деревьях — это был дрозд, заливающийся в нагретом воздухе, трепещущий от ликования,

но как будто движимый страхом, подумала Фанни; как будто он сам тревожится, что в сердце у него такая радость, — как будто за ним следят, пока он поет, и петь его заставляет смятение. Вон он! Не находя себе места, он перелетел на соседнее дерево. Ей стало чуть хуже слышно. Теперь его пение смешивалось с гулом колес и шумом ветра.

На ленч она потратила десять пенсов.

— Ой, девушка зонтик забыла, — запричитала рябая женщина в стеклянной кабинке у двери в молочном кафе «Экспресс».

— Может, догоню, — ответила Милли Эдвардс, официантка с белесыми косичками, и ринулась к двери.

— Куда там! — сказала она, вернувшись через секунду с дешевым зонтиком Фанни. Она провела рукой по волосам.

— Пропади пропадом эта дверь! — заворчала кассирша.

Ее руки прятались в черных митенках, а распухшие кончики пальцев были похожи на сосиски.

— Одна запеканка с овощами. Кофе большой и оладьи. Яичница с гренками. Два фруктовых кекса.

Все это пронзительными голосами выпаливали официантки. Посетители кафе с одобрением слушали, как повторяется их заказ; нетерпеливо посматривали на соседний столик, куда уже принесли еду; наконец и они получали свою яичницу с гренками. Взгляды их больше не отвлекались.

Влажные сладкие кубики падали в раскрытые рты, словно в треугольные сумки.

Нелли Дженкинсон, машинистка, крошила свой кекс довольно равнодушно. Каждый раз, когда открывалась дверь, она подымала глаза. Что она рассчитывала увидеть?

Торговец углем, не отрываясь, читал «Телеграф»; не глядя, он пошарил чашкой и, не найдя блюдечка, поставил ее прямо на скатерть.

— Вы видели когда-нибудь подобную наглость? — завершила свой рассказ миссис Парсонс, стряхивая крошки с меха.

— Одно молоко с блинчиками. Один чай. Булочка с маслом, — кричали официантки.

Дверь открывалась и закрывалась.

Такова жизнь старших.

Забавно, лежа в лодке, наблюдать за волнами. Вот идут три, ровно, одна за другой, все довольно крупные. Затем вслед за ними торопливо

набегает четвертая, огромная, грозная, приподымает лодку, идет дальше и как-то растворяется, ничего не совершив, распластывается вместе с другими.

Что может быть неистовее порыва деревьев в бурю, когда дерево, подаваясь всем стволом снизу доверху, до самых кончиков веток, развеивается, и дрожит под обрушивающимся ветром, и, совершенно всклокоченное, никуда, однако, не улетает?

Рожь гнется и ложится на землю, как будто собирается оторваться от своих корней, но не может.

Господи, да прямо из окошка, даже в сумерки видно, как по улице, раскинув руки, с горящими глазами и раскрытым ртом несется что-то набухающее, стремящееся. А потом мы мирно стихаем. Потому что, если бы возбуждение длилось дольше, нас бы сдуло в воздух как пену. Сквозь нас сияли бы звезды. В бурю мы бы падали на землю солеными каплями — такое иногда бывает. Потому что безудержный дух не выносит никакого убаюкивания. Никакого раскачивания, никакого бессмысленного сидения. Никакого притворства, никакого уютного полеживания в добродушной уверенности, что, в сущности, все похоже, камин потрескивает, вино приятно на вкус, всякая чрезмерность — порок.

— Люди ведь в общем такие славные, когда узнаешь их поближе.

— Я не могу думать о ней дурно. Надо же иметь в виду...

Но, например, Ник или Фанни Элмер, безоговорочно доверяя правде данного мгновения, отскакивают прочь, больно задев щеку, и исчезают как маленькие твердые градины.

— Ох, — сказала Фанни, врываясь в мастерскую на сорок пять минут позже назначенного срока потому только, что она слонялась в окрестностях Приютской больницы в надежде увидеть, как Джейкоб пройдет по своей улице, вытащит ключ от входной двери и откроет ее. — Извини, я опоздала, — на что Ник ничего не ответил и Фанни стало все нипочем.

— Я больше не приду! — закричала она в конце концов.

— Ну и не приходи, — сказал Ник, и она убежала, даже не попрощавшись.

Как изящно оно выглядело — это платье в магазине Эвелины неподалеку от Шафтсбери авеню! Было четыре часа дня, прекрасная погода, начало апреля, и неужели Фанни в такую погоду в четыре часа дня станет сидеть в помещении? Другие девушки на этой же самой улице

склонялись над бухгалтерскими книгами, устало тянули длинные нити, пришивая кисею к шелку, или под гирляндами в магазине «Суон энд Эдгар»^[19] проворно складывали столбиком на обороте счета, пенсы и фартинги, закатывали ярд и три четверти в оберточную бумагу и спрашивали «Что вам угодно?» у следующего покупателя.

В магазине Эвелины неподалеку от Шафтсбери авеню женщина демонстрировалась по частям. В левой руке она держала юбку. Вокруг шеста посредине обвивалось боа из перьев. В строгом порядке, как головы преступников на Темпл-Бар, располагались шляпы — изумрудные, белые, с легкими веночками или кренящиеся под тяжестью ярко покрашенных перьев. А на ковре стояли ее ноги — остроносые золотые или кожаные лакированные с пурпурными прорезями.

Услаждавшая взгляды стольких женщин, одежда к четырем часам дня была засижена мухами ничуть не меньше, чем сахарные кексы в витрине булочной. Ими Фанни тоже любовалась.

Но по Джеррард-стрит шагал высокий мужчина в потрепанном пальто. На витрину упала тень — тень Джейкоба, хотя это был не он. И Фанни повернулась и пошла по Джеррард-стрит, расстраиваясь, что так мало читала. Ник вообще ничего не читал и никогда не говорил ни об Ирландии, ни о палате лордов, а уж на его ногти просто смотреть страшно! Она выучит латынь и будет читать Вергилия. Раньше она много читала. Вальтера Скотта, Дюма. В Слейде^[20] никто не читает. Но Фанни в Слейде никто не знает и не догадывается, каким пустым ей все там кажется — эта страсть к сережкам, к танцам, к Гонксу и Стиру^[21], — тогда как писать картины умеют только французы, говорит Джейкоб. Потому что современные художники ничтожны; живопись — самое презренное из искусств; и стоит ли читать что-нибудь, кроме Марло и Шекспира, говорит Джейкоб, ну и Филдинга, если уж так хочется романы.

— Филдинг, — ответила Фанни, когда продавец на Чаринг-Кросс-роуд спросил, какая книга ее интересует.

Она купила «Тома Джонса».

В десять часов утра в комнате, которую она снимала вместе с одной учительницей, Фанни Элмер читала «Тома Джонса» — эту загадочную книгу. Ведь эта скучища (думала Фанни) про людей со странными именами и есть то, что нравится Джейкобу. То, что нравится порядочным людям. Небрежно одетые женщины, которые сидят как попало, читают «Тома Джонса» — эту загадочную книгу, потому что в книгах, думала Фанни, есть что-то такое, что, если бы я была образованная, мне бы,

наверное, нравилось — нравилось бы гораздо больше, чем сережки и цветы, вздохнула она, вспоминая коридоры Слейда и бал-маскарад на следующей неделе. Ей нечего было надеть.

Есть настоящие люди, думала Фанни Элмер, кладя ноги на каминную полку. Их немного. Может быть, и Ник один из них, только он очень глупый. А женщин таких нет, кроме мисс Сарджент, но она всегда в обед уходит и слишком уж задается. Они тихо сидят по вечерам и читают, думала она. Не ходят в мюзик-холл, не разглядывают витрины, не меняются одеждой, как они с Робертсоном, когда она надевала его жилет, а он ее шаль, а Джейкобу сделать это было бы очень неловко, потому что ему нравился «Том Джонс».

Вот она лежит у нее на коленях, напечатанная в два столбца, купленная за три с половиной пенса, загадочная книга, в которой Генри Филдинг много-много лет назад выговаривал Фанни Элмер за ее любовь к роскоши, да к тому же превосходной прозой, подчеркивал Джейкоб. Ведь он не читал современных романов. Ему нравился «Том Джонс».

— Мне так нравится «Том Джонс», — сказала Фанни в половине шестого того же апрельского дня, когда Джейкоб, сидящий в кресле напротив, вынул трубку из рта.

Увы, женщины лгут! Кроме Клары Даррант. Безупречная душа, сама искренность, дева, пригвожденная к скале (где-то рядом с Лаундс-сквер), вечно разливающая чай старичкам в белых жилетах, голубоглазая, глядящая прямо тебе в лицо, играющая Баха. Из знакомых женщин Джейкоб почитал ее больше всех, Но сидеть со знатными дамами в бархате за столом, где стоят бутерброды, и не иметь возможности сказать Кларе Даррант больше того, что говорил мистер Бенсон попугаю, покуда старая мисс Перри разливала чай, — вот уж воистину вопиющее поругание человеческого достоинства и нарушение всяческих приличий или что-то в этом духе. Потому что Джейкоб молчал. Он не сводил глаз с огня. Фанни отложила «Тома Джонса».

Она что-то шила или вязала.

— Что это такое? — спросил Джейкоб.

— В Слейде устраивают маскарад.

И она достала свой головной убор, брюки, туфли с красными кисточками. Что ей надеть?

— А я буду в Париже, — сказал Джейкоб.

Но зачем тогда вообще маскарады, подумала Фанни. Встречаешь одних и тех же людей, надеваешь тот же самый костюм. Мангин напивается, Флоринда сидит у него на коленях. Как она бесстыдно

флиртует — сейчас, например, с Ником Брамемом.

— В Париже? — переспросила Фанни.

— По пути в Грецию, — ответил он.

Потому что, добавил он, нет ничего отвратительнее, чем Лондон в мае. Он забудет ее.

Воробей пролетел за окном, таща соломинку из стога, стоящего у амбара на ферме. Старый коричневый спаниель обнюхивает землю, ища крысу. Уже верхние ветви вязов усыпаны гнездами. Каштаны обмахиваются своими веерами. И бабочки красуются над дорожками в лесу. Может быть, нимфалина пирует, как пишет Моррис, на куче гниющей падали у подножия дуба.

Фанни думала, что все это идет из «Тома Джонса». Он мог один пойти с книжкой в кармане и любоваться барсуками. Садился на поезд в восемь тридцать и шел пешком всю ночь. Он видел светящихся жуков и приносил домой светлячков в коробочках из-под лекарств. Охотился с шотландскими борзыми. Это все идет из «Тома Джонса», и он поедет в Грецию с книжкой в кармане и забудет ее.

Она потянулась за зеркальцем. Вот ее лицо. А что, если нарядить Джейкоба в чалму? Вот его лицо. Она зажгла лампу. Но так как за окном был день, лампа мало что освещала. И хотя Джейкоб казался грозным и величественным, и готов был вырубить лес, говорил он, и прийти в Слейд и быть турецким рыцарем или римским императором (и дал ей покрасить себе губы черным, и стискивал зубы, и гримасничал перед зеркалом), все-таки рядом лежал «Том Джонс».

XI

— Арчер, — сказала миссис Фландерс с той нежностью, с какой матери обычно говорят о первенцах, — завтра будет в Гибралтаре.

Почта, которую она ждала (прогуливаясь по холму Доде, в то время как разрозненные церковные колокола вызванивали над ее головой мелодию псалма; часы, рассекая кружащийся мотив, пробили четыре раза; трава полиловела под грозовой тучей, а два десятка деревенских домиков бесконечно жалобно съежились под набежавшей тенью), почта со всем разнообразием писем, конвертов, написанных четкими и летящими почерками, то с английскими, то с колониальными марками, а то с поспешно отгиснутой желтой полосой, почта вот-вот должна была разбросать по свету мириады посланий. Есть ли какая-нибудь польза от принятой у нас столь обильной переписки или нет, судить не нам. Но то, что в наши дни письма и в особенности письма молодых людей, путешествующих в чужих краях, как правило, лживы — факт совершенно неоспоримый.

Вот, например, такая сцена.

Перед нами Джейкоб Фландерс, отправившийся за границу и остановившийся на несколько дней в Париже. (В июне прошлого года умерла кузина его матери, старая мисс Бербек, и оставила ему сто фунтов в наследство.)

— Не надо повторять весь этот бред сначала, Краттендон, — рассердился Маллинсон, маленький лысый художник, сидящий за мраморным столиком с лужицами пролитого кофе и кружочками от винных бутылок; он говорил очень быстро и вне всякого сомнения был изрядно пьян.

— Что, Фландерс кончил писать своей барышне? — спросил Краттендон, когда подошел Джейкоб и уселся рядом с ними, держа в руке конверт, адресованный миссис Фландерс, в окрестностях Скарборо, Англия.

— Ты признаешь Веласкеса? — спросил Краттендон.

— Разумеется, признает, а то нет! — сказал Маллинсон.

— Вот, вечно он так, — раздраженно произнес Краттендон.

Джейкоб с подчеркнутой невозмутимостью поглядел на Маллиисона.

— Я тебе назову три величайших произведения из всех когда-либо

созданных мировой литературой, — снова заговорил Краттендон. — «Душа моя, виси, как плод»^[22] — начал он.

— Что слушать человека, который не любит Веласкеса, — перебил Маллинсон.

— Адольф, больше мистеру Маллинсону вина не приноси, — распорядился Краттендон.

— Ты не прав, ты не прав, — сказал Джейкоб тоном третейского судьи. — Пусть человек напивается, если ему хочется. Это Шекспир, Краттендон. Тут я с тобой согласен. Шекспир, разумеется, выше всех этих лягушек вместе взятых. «Душа моя, виси, как плод», — певуче и с выражением начал декламировать он, размахивая бокалом. «Чтоб черт тебя обуглил, беломордый!»^[23] — воскликнул он, и вино выплеснулось через край.

— «Душа моя, виси, как плод», — начали Краттендон с Джейкобом одновременно, и оба расхохотались.

— Проклятые мухи, — проворчал Маллинсон, хлопая себя по лысине, — за кого они меня принимают?

— За какое-нибудь благовоние, — ответил Краттендон.

— Прекрати, Краттендон, — велел Джейкоб. — Он у нас неважно воспитан, — очень любезно пояснил он Маллинсону. — Не дает людям выпить. Слушайте! Я хочу отбивную. Как по-французски отбивная? Отбивную, Адольф! Ты что, балбес, не понимаешь?

— А вторая прекрасная вещь в мировой литературе, скажу я тебе, Фландерс... — проговорил Краттендон, опуская ноги на пол, ставя локти на стол и почти касаясь лицом лица Джейкоба.

— Хи-хи-хи, ха-ха-ха, кошка съела петуха, — перебил Маллинсон, барабанив пальцами по столу. — Самая изысканно прекрасная вещь в мировой литературе... Краттендон — парень очень хороший, — продолжал он доверительно, — но дурачок. — И мотнул головой.

И ни слова об этом не было рассказано миссис Фландерс, и ничегошеньки о том, что происходило потом, когда они, расплатившись, ушли из ресторана и двинулись по бульвару Распай.

А вот еще один отрывок разговора: время действия — около одиннадцати утра; место действия — мастерская, день — воскресенье.

— Уверяю тебя, Фландерс, — говорил Краттендон, — я действительно ставлю эти маленькие вещи Маллинсона не ниже Шардена. И когда я так

говорю... — Он надавил на кончик истощавшего тюбика. — Шарден был молодчина... Сейчас он продает их, чтобы расплатиться за обед, но увидишь, что будет, когда за него ухватятся торговые агенты. Он — молодчина, правда, просто молодчина.

— Жизнь, конечно, у вас восхитительная, — сказал Джейкоб, — возиться тут, наверху, с красками. И все-таки, Краттендон, искусство ваше дурацкое. — Он побродил по комнате. — А кстати, этот человек, Пьер Луис^[24]... — Он взял в руки книжку.

— Послушайте, сударь, вам не надоело ходить из угла в угол? — спросил Краттендон.

— Вот отличная работа, — произнес Джейкоб, ставя картину на стул.

— А, этим я сто лет назад занимался, — ответил Краттендон, поглядев через плечо.

— По-моему, ты настоящий художник, — сказал Джейкоб спустя некоторое время.

— Если хочешь, я тебе покажу, что я сейчас делаю, — предложил Краттендон, ставя перед Джейкобом картину. — Вот. Вот это. Скорее даже вот это. Вот... — большим пальцем он обвел шар лампы, написанный белым.

— Отличная работа, — сказал Джейкоб, который стоял перед ней, широко расставив ноги. — Но объясни мне, пожалуйста...

В комнату вошла мисс Джинни Карслейк, бледная, веснушчатая, болезненного вида.

— О, Джинни, познакомься Фландерс. Англичанин. Богатый. Со связями. Давай дальше, Фландерс.

Джейкоб молчал.

— Вот *это* — совсем не то, что здесь надо, — заметила Джинни.

— Нет, — ответил Краттендон решительно. — Тут уж ничего не поделаешь.

Он снял картину со стула и поставил на пол, тыльной стороной к ним.

— Прошу садиться, леди и джентльмены. Фландерс, мисс Карслейк из ваших краев. Из Девоншира. Да? А мне показалось, ты говорил Девоншир. Чудесно. Она к тому же дочь церкви. Паршивая овца в своей семье. Мать ей пишет такие письма. Слушай, — у тебя, может, есть с собой? Они обычно по воскресеньям приходят. Знаешь, впечатление как от колокольного звона.

— Вы со всеми художниками познакомились? — спросила Джинни. — Маллинсон, наверное, был пьян? Если пойдете к нему в мастерскую, он вам подарит какую-нибудь картину. Послушай, Тедди...

— Секунду, — сказал Краттендон. — Какое там у нас время года? — Он выглянул в окно.

— По воскресеньям, Фландерс, мы не работаем.

— А он... — спросила Джинни. — Вы...

— Да, он поедет с нами, — сказал Краттендон.

А потом — Версаль.

Джинни стояла на каменном парапете, склонившись над прудом, а Краттендон поддерживал ее, чтобы не свалилась.

— Вон там, вон! — закричала она. — Вон, на самом верху! — Несколько вялых рыбин с покатыми спинами поднялись из глубины, чтобы проглотить крошки, которые она им бросала. — Посмотрите теперь вы, — сказала она, прыгивая. А затем ослепительно белая вода, бурная, сдавленная, вырвалась в воздух. Заработал фонтан. Сквозь его шум издали донеслись звуки марша. Вся поверхность пруда сморщилась от падающих капель. Голубой воздушный шарик мягко стукнулся о воду. Как сразу же столпились у пруда няньки, дети, и старики, и молодые люди, как они наклонялись и размахивали тростями! И маленькая девочка, протягивая руки, побежала к своему шарiku, но он утонул около самого фонтана.

Эдвард Краттендон, Джинни Карслейк и Джейкоб Фландерс шагали втроем по желтой гравиевой дорожке, потом прямо по траве, прошли под деревьями и оказались у беседки, в которой Мария Антуанетта имела обыкновение пить шоколад. Эдвард и Джинни вошли внутрь, а Джейкоб остался стоять, усевшись на ручку трости. Скоро они вышли.

— Ну? — сказал Краттендон, улыбаясь Джейкобу.

Джинни ждала, Эдвард ждал, и оба смотрели на Джейкоба.

— Ну? — сказал Джейкоб, улыбаясь и опираясь о трость обеими руками.

— Пошли, — решил он и двинулся вперед. Остальные двое, улыбаясь, последовали за ним.

А потом они завернули в маленькое кафе, в каком-то переулке, где люди сидели и пили кофе, разглядывали военных и задумчиво стряхивали пепел в пепельницы.

— Нет, он совсем другой человек, — говорила Джинни, сцепив пальцы над своим бокалом. — Вы, наверное, себе не очень представляете, о чем говорит Тед, — сказала она, глядя на Джейкоба. — А я его понимаю. Я иногда готова с собой покончить. Бывает, он лежит в постели целый день

— просто лежит... Еще не хватало, прямо на стол! — Она замахала руками. Жирные переливчатые голуби вразвалку ходили у их ног.

— Смотрите, какая у той женщины шляпа, — сказал Краттендон. — Надо же такое придумать... Нет, Фландерс, я бы, наверное, не смог жить, как ты. Ходить по этой улице напротив Британского музея — как она называется? — понимаешь, о чем я? Там все такое... Эти толстые женщины, и этот, который стоит посреди улицы, как будто с ним сейчас припадок будет...

— Их все здесь кормят, — сказала Джинни, отмахиваясь от голубей. — Дурацкие птицы.

— Не знаю, конечно, — произнес Джейкоб, затягиваясь сигаретой. — А зато там есть собор Святого Павла.

— Я говорю про то, что ты ходишь в свою контору.

— Да черт с ней, с конторой! — запротестовал Джейкоб.

— Нет, ну про тебя что говорить, — сказала Джинни, глядя на Краттендона. — Ты же сумасшедший, ты же только о живописи и думаешь.

— Да, так оно и есть. Ничего не поделаешь. Послушай-ка, а как там насчет пэров, уступит король или нет?

— Да уж ему придется уступить, — ответил Джейкоб.

— Видишь! — воскликнула Джинни. — А он в этом разбирается.

— Понимаешь, я б и жил так, если б мог, — сказал Краттендон, — но я просто не могу.

— Я бы, наверное, смогла, — сказала Джинни. — только так живут все, кто мне не нравится. Я имею в виду — дома. Они же ни о чем другом не разговаривают. Даже люди вроде моей матери.

— Если бы я сюда переехал и стал бы жить здесь... — начал Джейкоб. — Сколько я тебе должен, Краттендон? Ну, ладно. Как хочешь. Вот глупые птицы, когда нужно, так их и нет, — улетели.

И наконец, под дуговыми фонарями у Гар-дез-инвалид, одним из тех непостижимых движений, которые почти неощутимы, но вполне определены, которые могут либо обидеть, либо остаться незамеченными, но, как правило, вызывают ощущение неловкости, Джинни и Краттендон потянулись друг к другу. Джейкоб остался в стороне. Они должны были проститься. Следовало что-то сказать. Сказано ничего не было. Мимо прошел человек с тележкой, и так близко: что тележка чуть не проехала по ногам Джейкоба. Когда Джейкоб вернул себе утраченное равновесие, те двое уже отворачивались, хотя Джинни оглядывалась через плечо, а

Краттендон, помахав рукой, исчез, как и подобает настоящему гению.

Нет, Джейкоб ничего не рассказал об этом миссис Фландерс, хотя чувствовал — совершенно точно, — что важнее этого ничего на свете нет; а Краттендон и Джинни казались ему самыми замечательными людьми, каких он когда-либо видел, — ведь он, конечно, не мог представить себе, как оно потом обернулось — что Краттендон стал писать фруктовые сады и ему поэтому пришлось жить в Кенте; и хотя теперь он, как будто, мог бы уже распрощаться с яблоневым цветом, потому что жена, ради которой все это делалось, ушла от него к одному писателю, — но нет, Краттендон по-прежнему, свирепо, в одиночестве, пишет фруктовые сады. А Джинни Карслейк после романа с Лефаню, американским художником, зачастила к индийским философам, а сейчас живет в Италии по разным пансионатам и бережно хранит шкатулку для драгоценностей, в которой лежат обыкновенные камушки, подобранные на дороге. Но если внимательно в них взглянуть, говорит она, разнообразие переходит в единство, и это каким-то образом оказывается тайной жизни, что отнюдь не мешает ей следить за тем, как миска с макаронами обходит стол в пансионе, а иногда весенними вечерами она ошарашивает застенчивых молодых англичан своими признаниями.

Джейкобу нечего было скрывать от матери. Просто он сам не мог разобраться в своем удивительном волнении, а уж перенести его на бумагу...

— Письма Джейкоба так на него похожи... — отметила миссис Джарвис, складывая письмо.

— Да, кажется, ему там... — сказала миссис Фландерс и остановилась, потому что кроила платье и ей надо было разгладить выкройку, — ...очень весело.

Миссис Джарвис думала о Париже. Окно за ее спиной было открыто — вечер стоял теплый, безветренный, луна словно была чем-то окутана и яблони застыли совершенно неподвижно.

— Мне не жаль мертвых, — произнесла миссис Джарвис, поправляя у себя за спиной подушку и сплетая руки на затылке. Бетти Фландерс ее не расслышала из-за громкого лязганья ножниц над столом.

— Они обрели покой, — продолжала миссис Джарвис. — А мы проводим дни, занимаясь бессмысленными, никому не нужными вещами, и сами не знаем зачем.

В деревне миссис Джарвис не любили.

— Вы в такое время не ходите гулять? — спросила она у миссис Фландерс.

— Вечер, конечно, удивительно теплый, — ответила миссис Фландерс.

И впрямь, она давным-давно не выходила по вечерам через садовую калитку на холм Доде.

— Совсем сухо, — сказала миссис Джарвис, когда они закрыли за собой калитку и ступили на дерн.

— Я далеко не пойду, — предупредила Бетти Фландерс. — Да, в среду Джейкоб уезжает из Парижа.

— Из них троих Джейкоб всегда был моим любимцем, — проговорила миссис Джарвис.

— Ну, дорогая, я дальше не иду, — сказала миссис Фландерс. Они взобрались на темный холм и оказались у римского лагеря.

У их ног подымался крепостной вал — гладкий, опоясывающий лагерь или могилу. Сколько иголок потеряла здесь Бетти Фландерс! И гранатовую брошку.

— Бывает гораздо лучше видно, — сказала миссис Джарвис, стоя на возвышении. Небо было чистое, но над морем и над пустошами поднималась какая-то дымка. В Скарборо мерцали огни, как будто женщина в бриллиантовом ожерелье поворачивала голову туда-сюда.

— До чего тихо! — вздохнула миссис Джарвис.

Миссис Фландерс носком поводила по дерну, вспоминая гранатовую брошку.

Сегодня миссис Джарвис не хотелось думать о себе. Было так покойно. Ветер улегся, ничто не несло, не летело, не исчезало. Черные тени неподвижно застыли над серебристыми пустошами. Кусты дрока стояли совершенно неподвижно. И о Боге миссис Джарвис не думала. За ними, впрочем, была церковь. Церковные часы пробили десять. Донеслись ли удары часов до дрока, услышал ли их терновник?

Миссис Фландерс нагнулась и подобрала камушек. Бывает же, что люди что-то находят, подумала миссис Джарвис, однако при таком тусклом лунном свете ничего невозможно разглядеть, только кости и обломки мела.

— Джейкоб купил ее на свои деньги, а потом я повела сюда мистера Паркера полюбоваться видом и, наверное, ее обронила, — бормотала миссис Фландерс.

Что это пошевелилось — кости или заржавевшие мечи? Значит, дешевенькая брошка миссис Фландерс стала навсегда частью этого

огромного скопища? И если бы сюда явилась толпа призраков и окружила миссис Фландерс плотным кольцом, разве она не оказалась бы совершенно на своем месте, живая английская матрона, полнеющая с годами?

Часы пробили четверть.

Часы делили время на четверти, и хрупкие волны звука замирали в суровом утеснике и ветках боярышника.

Застывшие широкогрудые вересковые пустоши выслушали утверждение «прошло пятнадцать минут», но сами безмолвствовали, разве что чуть шелестели куманикой.

Но даже и при таком тусклом свете можно прочесть надписи на гробницах, разобрать голоса, слышные лишь мгновение: «Я Берта Рук», «Я Том Гейдж». И еще они сообщают, какого числа умерли, и тут же Новый Завет говорит что-то очень величавое, очень выразительное или утешительное.

И вересковые пустоши принимают и это тоже.

Лунный свет бледной страницей падает на церковную стену и озаряет коленопреклоненную семью в нише и мемориальную доску, установленную в 1780 году в честь сквайра этого прихода, который помогал беднякам и верил в Бога, — так, двигаясь по мраморным скрижалям, повествует размеренный голос, как будто пытающийся запечатлеться во времени и в вольном воздухе.

Из-за кустов утесника крадучись выходит лиса.

Часто, даже по ночам, кажется, что церковь полна народу. Скамьи потертые и засалены, и священники на своих местах, и псалтыри на полочках. Корабль со всей командой на борту. Балки силятся удержать всех мертвых и живых, пахарей, плотников, джентльменов, охотившихся на лис, и крестьян, пахнувших дорожной грязью и спиртным. Их языки хором выговаривают по складам отчетливо звучащие слова, которые испокон веков отсекают время от широкогрудых пустошей. Жалоба и вера, и скорбный напев, отчаяние и ликование, но в основном здравый смысл и хмельное безразличие тяжелой поступью выходят из окон в любое время суток последние пятьсот лет.

И все же, как сказала миссис Джарвис, выйдя на пустоши: «До чего тихо!» Тихо в полдень, если только по вереску не рассыпается во все стороны охота; тихо во второй половине дня, когда слышно лишь, как перегоняют овец; и совсем тихо на пустошах ночью.

Гранатовая брошка упала в траву. Бесшумно крадется лиса. Лист поворачивается ребром. Миссис Джарвис, которой уже пятьдесят, отдыхает в римской крепости в тусклом лунном свете.

— ...а мне, — проговорила миссис Фландерс, выпрямляясь, — никогда не нравился мистер Паркер.

— Мне тоже, — согласилась миссис Джарвис. Они двинулись к дому.

Но над лагерем еще некоторое время витали их голоса. Лунный свет ничего не разрушал. Вересковые пустоши принимали все. И пока стоит надгробье, кричит Том Гейдж. В целости и сохранности пребывают скелеты римлян. И штопальные иглы Бетти Фландерс тоже целы, и ее гранатовая брошка. А иногда в полдень, когда светит солнце, пустошь как нянька перебирает эти маленькие сокровища. Но в полночь, когда никто не разговаривает, и не скачет верхом, и терновник застыл совершенно неподвижно, глупо было бы досаждать пустошам вопросами — что и почему?

Часы, однако, бьют двенадцать.

XII

Вода падала с уступа отвесно как свинец — как цепь с толстыми белыми звеньями. Поезд вылетел на крутой зеленый луг, и Джейкоб увидел тюльпаны с яркими полосами и услышал пение птицы — уже в Италии.

Автомобиль, набитый итальянскими офицерами, катился по ровной дороге, не отставая от поезда и поднимая за собой пыль. Деревья были перевиты виноградными лозами — как у Вергилия. Мелькнула станция, на которой шли пышные проводы, там были женщины в высоких желтых сапожках и странные бледные мальчики в полосатых носках. Вергилиевы пчелы остались где-то над равнинами Ломбардии. Древние вообще всегда выращивали виноград между вязами. Потом около Милана появились острокрылые ястребы, ярко-коричневые, выделяющие пируэты над крышами.

Итальянские вагоны жутко накаляются под полуденным солнцем, и когда паровоз карабкается на вершину ущелья, кажется, что лязгающая цепь вот-вот не выдержит и разорвется. Выше, выше, выше ползет поезд, как в игрушечной железной дороге. Горные пики покрыты остроконечными деревьями, и на уступах теснятся удивительные белые деревушки. На самом верху непременно какая-нибудь белая башня, плоские крыши с красной оборкой, а под ними малюсенькие домики. Вот уж страна, где не пойдешь прогуляться после чая. Во-первых, травы нет и в помине. По всему склону холма рядами посажены оливковые деревья. Еще только апрель, а земля между ними уже сбилась в сухие, пыльные комья. И нет ни приступок у изгородей, ни тропинок, ни аллей, испещренных лиственной тенью, ни невысоких гостиниц с эркерами, построенных в восемнадцатом веке, в которых подают яичницу с ветчиной. Нет, нет. Италия — это сама жесткость, скудость, нагота и черные священники, шаркающие по дорогам. И еще странно, что то и дело попадаютя виллы.

И все же путешествовать одному с сотней фунтов в кармане — прекрасно. А если деньги кончатся, что, вероятно, и произойдет, он двинется в путь пешком. Будет есть хлеб и пить вино — вино в оплетенных соломой бутылках, — потому что, осмотрев Грецию, он собирался еще заскочить в Рим. Римская цивилизация, конечно, не идет ни в какое сравнение с греческой. Но все равно, Бонами сплошь и рядом говорит ерунду. «Надо бы тебе побывать в Афинах», — скажет он Бонами, когда вернется. — «Стоишь у Парфенона...» — скажет он или: «Развалины

Колизея наводят на чрезвычайно возвышенные размышления», которые он подробно станет излагать в письмах. А может даже из этого выйдет статья о цивилизации. Сравнение древних с нынешними, уснащенное убийственными выпадами против мистера Асквита — что-нибудь в духе Гиббона.

Полный человек с трудом протиснулся в дверь купе, весь пропылившийся, мешковатый, увешанный золотыми цепями, и Джейкоб, пожалев о своем нелатинском происхождении, стал смотреть в окно.

Странно, если подумать, что, проехав два дня и две ночи, оказываешься в самом сердце Италии. Среди оливковых деревьев вдруг вырастают виллы; лакеи, поливающие кактусы. Черные экипажи въезжают между помпезными колоннами с наклепленными на них гипсовыми щитами. Всего лишь на мгновение, но с поразительной откровенностью встает жизнь перед глазами иностранца. А вот одинокая вершина, на которую никто никогда не подымается, но ее вижу я, еще совсем недавно кативший в омнибусе по Пиккадилли. И так бы мне хотелось выйти в эти поля, усесться там, и слушать кузнечиков, и набрать пригоршню земли — итальянской земли, ведь даже мои ботинки покрыты итальянской пылью.

Ночью Джейкоб слышал, как выкрикивают названия незнакомых станций. Поезд остановился, и он услышал, что совсем рядом квакают лягушки, и, осторожно оттянув занавеску, увидел огромное странное болото, все белое в лунном свете. В купе пахло сигарным дымом, который плавал вокруг шара с зеленым абажуром. Итальянец храпел, сбросив башмаки и расстегнув жилет... И вдруг вся эта затея с поездкой в Грецию показалась Джейкобу исполненной невыносимой тоски — сидеть одному в отелях и осматривать памятники, — лучше бы он поехал с Тимми Даррантом в Корнуолл...

— М-м, — запротестовал Джейкоб, когда темнота вокруг начала рассеиваться и стал пробиваться свет, но человек тянулся через него, чтобы что-то достать... толстый итальянец в манишке, небритый, потный, тучный, открывал дверь и шел умываться.

Тогда Джейкоб сел и увидел, как по дороге в раннем утреннем свете идет с ружьем поджарый итальянский охотник, и все, что он знал о Парфеноне, вернулось к нему в мгновение ока.

«Вот это да! — сообразил он. — Мы же почти приехали!» И он высунулся из окна, и воздух что есть мочи ударил ему в лицо.

Очень противно, когда двум с лишним десяткам твоих знакомых ничего не стоит с места в карьер сказать что-нибудь существенное о

пребывании в Греции, а ты, оказавшись там, решительно никаких чувств не испытываешь. Потому что, умывшись в отеле в Патрах, Джейкоб прошел около мили вдоль трамвайных путей, а затем так же вдоль трамвайных путей вернулся обратно; навстречу ему попадались индюшечьи стаи, вереницы осликов; потом он заблудился на каких-то задворках; ознакомился с рекламой корсетов и консоме Магги; дети наступали ему на ноги; в городе пахло протухшим сыром; и он обрадовался, когда внезапно вышел прямо к своему отелю. Там среди кофейных чашечек лежала старая «Дейли мейл»; он ее прочитал. А чем заняться после обеда?

Несомненно, в целом нам было бы гораздо хуже, чем теперь, не будь у нас этой удивительной способности к иллюзиям. Лет в двенадцать или около того, когда куклы заброшены, а паровозики переломаны, Франция, а еще вероятнее, Италия, а уж Индия почти наверняка, поражает наше воспаленное воображение. Тетушки бывали в Риме, и у всех, разумеется, есть дядя, последние вести о котором — вот бедняга! — дошли из Рангуна. Он теперь не приедет никогда. Но миф о Греции начинают гувернантки. Посмотри, что за голова (говорят они), видишь, нос прямой как стрела, кудри, брови — все такое мужественное, красивое, а на ногах и на руках у него линии, которые означают высшую ступень развития, — ведь для древних греков тело было не менее важно, чем лицо. А еще древние греки умели так писать фрукты, что птицы пытались их клевать. Сначала читаешь Ксенофонта, потом Еврипида. И однажды — господи, какое это было событие! — все, о чем ты раньше слышал, наполняется для тебя смыслом, «греческий дух», греческое то, другое, третье; хотя, конечно, просто нелепо полагать, будто кто-нибудь из древних греков может сравниться с Шекспиром. Суть, однако, в том, что мы получаем воспитание, основанное на иллюзиях.

Джейкоб, несомненно, думал что-то подобное, держа в руке скомканную «Дейли мейл», вытянув ноги, являя собой олицетворение скуки.

«Но так нас воспитывают», — продолжал думать он.

И все это показалось ему омерзительным. Следовало что-то с этим делать. И если сперва у него было просто подавленное настроение, то теперь он затосковал так, как тоскуют смертники. Клара Даррант бросила его тогда на вечере и стала разговаривать с американцем по имени Пилчард. А он зачем-то уехал в Грецию и бросил ее. Там у них все были в вечерних туалетах и несли чушь — боже, какую страшную чушь, — и он потянулся к «Глоб троттеру», международному журналу, который владельцы отелей получают бесплатно.

Несмотря на весь свой упадок современная Греция чрезвычайно продвинулась в развитии трамвайной сети, так что, пока Джейкоб сидел в гостиной отеля, трамваи под окнами лязгали, тренькали, повелительно звонили, звонили, звонили, чтобы прогнать с дороги осликов или старуху, не желавшую пошевелиться. Проклятье относилось к цивилизации в целом.

Но слуга отеля и на проклятье никакого внимания не обратил. Грязный тип по имени Аристотель, плотоядно интересующийся телом единственного жильца, занимающего сейчас единственное кресло, нарочито шумно зашел в гостиную, что-то поставил, что-то подправил и убедился, что Джейкоб все еще сидит там.

— Мне нужно, чтобы завтра меня рано разбудили, — бросил Джейкоб через плечо. — Я еду в Олимпию.

Это уныние, эта капитуляция перед темными водами, захлестывающими нас, — порождение наших дней. Может быть, как говорит Краттендон, мы мало во что верим. Отцам нашим по крайней мере было что разрушать. Нам, впрочем, тоже кое-что осталось, — подумал Джейкоб, комкая «Дейли мейл». Он станет членом парламента и будет выступать с блестящими речами... но разве могут помочь блестящие речи и парламента, если ты хоть на дюйм отступил перед черными водами. Конечно, еще никто не сумел объяснить эти приливы и отливы в наших жилах — ощущения счастья и несчастья. Джейкоб совсем не исключал, что за ними кроется благопристойность, и вечера, на которые надо специально одеваться, и страшные трущобы за Грейз инн — нечто прочное, неподвижное, абсурдное. Да и Британская империя начинала его озадачивать, и не вполне он был уверен в правильности решения о самоуправлении Ирландии. Что там об этом пишет «Дейли мейл»?

Он стал взрослым мужчиной и вот-вот должен был с головой уйти во всякие дела — даже горничная, которая выливали за ним тазик для умывания и трогала ключи, запонки, карандаши и пузырьки с лекарствами, разбросанные на туалетном столике, ощущала это.

То, что он стал взрослым мужчиной, понимала Флоринда, так, как она понимала и все остальное, — интуитивно.

И Бетти Фландерс немедленно это заподозрила, читая его письмо, отправленное из Милана, в котором говорилось «вовсе не о том, — жаловалась она миссис Джарвис, — что мне хотелось бы знать», но она долго над ним размышляла.

Фанни Элмер чувствовала это очень остро. Он ведь возьмет трость и

шляпу и отойдет к окну с таким рассеянным, но страшно суровым видом, представляла себе она.

— Пойду, — скажет он, — попрошусь на угощение к Бонами.

— Во всяком случае, у меня всегда остается возможность утопиться в Темзе, — заплакала Фанни, стремительно проходя мимо здания Приютской больницы.

«Но „Дейли мейл“ доверять нельзя», — сказал себе Джейкоб, ища глазами, чего бы еще почитать. И он снова вздохнул, потому что действительно был в таком глубоком унынии, что, наверное, оно уже давно сидело в нем, готовое в любую минуту подступить к сердцу, и это, в общем, не могло не удивлять в человеке, который так умел наслаждаться жизнью, не обнаруживал особой склонности к самоанализу, но, конечно, был до мозга костей романтиком, — размышлял Бонами, сидя у себя в Линкольнз инн.

«Влюбится там, — размышлял Бонами, — в какую-нибудь гречанку с прямым носом».

Потому что из Патр Джейкоб написал Бонами — Бонами, который не влюблялся в женщин и никогда не читал дурацких книжек.

Ведь хороших книг, в сущности, очень мало; не станем же мы относить к ним пространные исторические повествования, записки о путешествиях к истокам Нила в повозках, запряженных мулами, или болтливую беллетристику.

Мне нравятся книги, достоинства которых все собраны на одной-двух страницах. Мне нравятся фразы, которые с места не сойдут, хотя бы сквозь них шагали армии. Мне нравится, когда слова жестки, — таковы были взгляды Бонами, — и они обеспечили ему неприязнь тех, кто предпочитает свежую утреннюю поросль, кто распахивает окно и видит маки, распутившиеся на солнце, и не может сдержать ликующие возгласы по поводу поразительного богатства английской литературы. Но это было Бонами глубоко чуждо. А то, что его литературные пристрастия влияли и на отношения с людьми, делая его молчаливым, скрытным, привередливым и не испытывающим стеснения лишь в обществе нескольких молодых людей, которые думали так же, как и он, ставилось ему в вину.

Но при этом Джейкоб Фландерс думал вовсе не так, как он, — далеко не так, вздохнул Бонами, откладывая в сторону тонкие листы почтовой бумаги и погружаясь в размышление о характере Джейкоба, — уже не в первый раз.

Самое ужасное заключалось в этой его романтической жилке. «Но в

сочетании с глупостью, которая доводит его до таких нелепых мучений, — думал Бонами, — есть что-то, что-то такое...» — он вздохнул, потому что никого на свете не любил так сильно, как Джейкоба.

Джейкоб подошел к окну и остановился, держа руки в карманах. Он увидел трех греков в юбочках, корабельные мачты, праздных и озабоченных людей из низшего сословия, которые прогуливались, или деловито куда-то шли, или, собравшись в кружок, энергично жестикулировали. Им не было до него никакого дела, но не это порождало его уныние, а другое, более глубокое ощущение — то есть не то, что ему случилось испытать одиночество, а то, что люди вообще одиноки.

И все же на следующий день, когда поезд медленно объезжал холм по дороге в Олимпию, в виноградниках видны были греческие крестьянки, а на станциях сидели старые греки и потягивали сладкое вино. И хотя Джейкоб по-прежнему пребывал в унынии, он никогда раньше не подозревал, как восхитительно быть совсем одному, за пределами Англии, когда ты ни с кем и ни с чем не связан и сам себе хозяин. По дороге в Олимпию видишь голые остроконечные холмы и синее море в треугольных пространствах между ними. Немножко похоже на корнуолльское побережье. А что, если пройтись денек пешком, выбраться на эту дорогу и шагать по ней между кустами — или здесь такие маленькие деревья? — и подняться на гору, с которой можно разглядеть половину народов античности...

— Так, — сказал Джейкоб вслух, потому что ехал в пустом вагоне, — посмотрим-ка на карту.

Хорошо это или плохо, но невозможно отрицать, что внутри у нас живет дикая лошадь. Скакать, не зная удержу, упасть в изнеможении на песок, почувствовать, как вращается земля, испытать — буквально — прилив любви к камням и травам, как будто с человечеством покончено, и пусть мужчины и женщины катятся ко всем чертям, — что ни говори, а подобное желание охватывает нас довольно-таки часто.

Вечерний воздух слегка поколебал грязные занавески в окне отеля в Олимпии.

«Я всех люблю, — думала миссис Уэнтворт-Уильямс, — и больше всех — бедняков... крестьян, бредущих вечером с ношей. И все так нежно, туманно и очень грустно. Грустно, грустно. Но все имеет смысл», — думала Сандра Уэнтворт-Уильямс, чуть поднимая голову, очень красивая, печальная и взволнованная. «Нужно все любить».

Она держала в руках книжечку, удобную в дороге — рассказы Чехова, — и стояла, опустив вуаль, одетая в белое, у окна отеля в Олимпии. Какой прекрасный был вечер, и красота его сливалась с ее красотой. Трагедия Греции — трагедия всех возвышенных душ. Неизбежный компромисс. Казалось, она поняла что-то важное. Она это запишет. И, подсев к столу, за которым, читая, сидел ее муж, она подперла подбородок ладонями и задумалась о крестьянах, о страдании, о своей красоте, о неизбежном компромиссе и о том, как она это запишет. И Эван Уильямс, закрывая книгу и откладывая ее в сторону, чтобы освободить место для тарелок с супом, которые сейчас ставили перед ними, не сказал ничего грубого, ничего банального или неумного. Только его потупленный взгляд, похожий на собачий, и обвисшие желтовато-бледные щеки выражали скорбное терпение и убежденность в том, что, хотя он живет осмотрительно и осторожно, ему все же никогда не удастся достичь ни одной из тех целей, которые, по его мнению, относятся к достойным. Предупредительность его была безупречна, молчание — неколебимо.

— Кажется, что все исполнено глубокого смысла, — сказала Сандра. Но как только она заговорила, чары рассеялись. Она забыла о крестьянах. Осталось лишь ощущение собственной красоты — и, к счастью, перед ней висело зеркало.

«Я очень красива», — подумала она.

Она слегка сдвинула шляпу. Ее муж увидел, что она смотрится в зеркало, и признал, что красота важна, она передается по наследству, ее невозможно игнорировать; но она же и разобщает, и, по правде говоря, она скучна. И он доел свой суп, по-прежнему глядя в окно.

— Куропатки, — лениво сказала миссис Уэнтуорт-Уильямс. — А потом, наверное, козленок, а еще...

— Очевидно, карамелевый крем, — в тон ей продолжал ее муж, уже держа наготове зубочистку.

Она опустила ложку в тарелку, и суп унесли недоеденным. Все она делала с достоинством, поскольку принадлежала к тому английскому типу, который очень похож на греческий, с той только разницей, что перед ним снимают шляпу деревенские жители, и его почитают в семействе священника, и старшие и младшие садовники уважительно вытягиваются, когда воскресным утром она, прогуливаясь у каменных ваз с премьер-министром, спускается с широкой террасы сорвать розу, — и, может быть, именно это она и пыталась забыть, когда взгляд ее блуждал по столовой в гостинице в Олимпии, отыскивая окно, где лежала ее книжка, где всего несколько минут назад она что-то для себя открыла — что-то очень-очень

глубокое о любви, и грусти, и крестьянах.

Однако вздохнула не она, а Эван, и это не был вздох отчаяния или, например, возмущения. Но будучи одновременно самым честолюбивым и самым инертным человеком на свете, он еще ничегошеньки не совершил, хотя знал политическую историю Англии как свои пять пальцев и, проводя немало часов в обществе Чатама, Питта, Бёрка и Чарльза Джеймса Фокса^[25] не мог не сравнивать себя и свое время с ними и с их временем. «И все же никогда прежде великие люди не были нужны так, как сегодня», — обычно говорил он себе со вздохом. И вот он сидел, ковыряя в зубах, в гостинице, в Олимпии. Наконец он покончил с этим. А взгляд Сандры все еще блуждал.

— Розовые дыни наверняка опасны для желудка, — произнес он мрачно. На этих его словах дверь распахнулась и вошел молодой человек в сером клетчатом костюме.

— Красивы, но опасны, — отозвалась Сандра, в присутствии третьего лица немедленно принимаясь беседовать с мужем. («Ага, английский мальчик путешествует», — подумала она про себя.)

И Эван все это понял.

Да, он все понял и восхитился ею. Очень приятно, подумал он, иметь романы. Но для него с его ростом (он не забывал, что в Наполеоне было пять футов и четыре дюйма), с его весом, с его неспособностью воздействовать на других (и все же великие люди нужны сейчас больше, чем когда бы то ни было, вздохнул он) это занятие пустое. Он отбросил сигару, подошел к Джейкобу и спросил его в своей простой и прямодушной манере, которая Джейкобу понравилась, давно ли он из Англии.

— Как это по-английски! — рассмеялась Сандра, когда на следующее утро служитель отеля сообщил им, что молодой джентльмен в пять утра отправился на гору. — И он еще наверняка просил, чтобы ему приготовили ванну, да? — на что служитель покачал головой и сказал, что обратится к хозяину.

— Вы не поняли, — засмеялась Сандра, — Но это не важно.

Растянувшись на вершине горы, в полном одиночестве, Джейкоб был совершенно счастлив. Пожалуй, еще никогда в жизни ему не было так хорошо.

Но в этот же день за ужином мистер Уильяме предложил ему свою газету, затем миссис Уильяме спросила (когда они, куря, прогуливались по

террасе, — а как он мог отказаться от его сигары?), видел ли он театр при лунном свете, не знаком ли он случайно с Эверардом Шерборном, читает ли он по-древнегречески и, если бы пришлось решать (Эван тихонько поднялся и пошел в дом), какой литературой пожертвовать, назвал ли бы он русскую или французскую?

«И теперь, — писал Джейкоб Бонами, — мне придется читать ее проклятую книжку», — он имел в виду одолженного ею Чехова.

Хотя эту точку зрения мало кто разделяет, все-таки очень и очень вероятно, что пустые пространства — поля, непригодные для вспашки из-за обилия камней, и колышущиеся луговины моря где-нибудь между Англией и Америкой — подходят нам больше, чем города.

Есть в нас что-то непреложное, презиращее уступки обстоятельствам. Именно оно и подвергается в обществе постоянным насмешкам и мучениям, Люди собираются в комнате. «Мне так приятно, — говорит кто-нибудь, — с вами познакомиться», а это ложь. И потом: «Сейчас я стала больше любить весну, чем осень. Наверное, все приходит с возрастом». Потому что женщины всегда, всегда, всегда рассуждают о чувствах, и если они говорят «с возрастом», то значит, ждут от тебя ответа, который бы не имел никакого отношения к сути дела.

Джейкоб уселся в каменоломне, где древние греки вырубали мрамор для театра. Тяжело и жарко подниматься по греческим холмам в полдень. Повсюду цвели дикие красные цикламены; у него на глазах маленькие черепашки переваливались с одной глыбы на другую; в воздухе ощущался терпкий, внезапно сладковатый запах; и солнце, заливающее зубчатые осколки мрамора, слепило глаза. Собранный, властный, надменный, немного печальный и величественно скучающий, он сидел там и курил свою трубку.

Бонами сказал бы, что вот это-то его и тревожило, — когда на Джейкоба нападала хандра и он становился похож на рыбака из Маргита, вынужденного сидеть на берегу, или на британского адмирала. Когда он бывал в таком настроении, втолковать ему что-нибудь оказывалось совершенно невозможно. Лучше всего было оставить его в покое. Он делался скупен. Его все раздражало.

Встал он очень рано и ходил с Бедекером осматривать статуи.

Сандра Уэнтворт-Уильямс, до завтрака перебрав имеющиеся возможности в поисках приключения или нового взгляда на мир, вся в белом, может, и не такая высокая, но зато поражающая превосходной осанкой, — Сандра Уильямс поймала тот миг, когда голова Джейкоба

оказалась вровень с головой Гермеса, созданной Праксителем. Сравнение безусловно было в пользу Джейкоба. Но не успела она и слова вымолвить, как он вышел из музея и покинул ее.

Однако в багаже путешествующей светской дамы, разумеется, хранится не одно платье, и если белое скорее подходит к утреннему часу, то, быть может, песчано-желтое в лиловую крапинку с черной шляпой и томиком Бальзака соответствует вечернему. Такой она предстала глазам Джейкоба, когда он вошел на террасу. Очень красивой. Сцепив пальцы, она размышляла, и, кажется, слушала мужа, и, кажется, наблюдала за тем, как крестьяне с вязанками хвороста за спиной спускаются с гор, и, кажется, замечала, как холм из голубого становится черным, и, кажется, разбиралась, где истина, а где ложь, думал Джейкоб, и, внезапно заметив, насколько потрепаны его брюки, положил ногу на ногу.

«Но у него очень благородный вид», — решила Сандра.

А Эван Уильямс, откинувшись в кресле с газетой на коленях, позавидовал им. Лучше всего, конечно, было бы напечатать в издательстве «Макмиллан» монографию о внешней политике Чатама. Но будь проклято это нарывающее тошнотворное чувство — эта тревога, распирающее и жар — ревность! ревность! ревность! — которую он поклялся никогда больше не испытывать.

— Фландерс, поехали с нами в Коринф, — произнес он с необычной для себя настойчивостью, останавливаясь над креслом Джейкоба. Ответ Джейкоба его успокоил, вернее, не сам ответ, а то, как серьезно, прямо, хотя и несколько застенчиво Джейкоб сказал, что ему очень бы хотелось поехать с ними в Коринф.

«Вот, — подумал Эван Уильямс, — кто прекрасно мог бы заниматься политикой».

«Я собираюсь теперь каждый год до самой смерти приезжать в Грецию, — писал Джейкоб Бонами. — Это, на мой взгляд, единственная возможность спастись от цивилизации».

«Бог его знает, что он этим хочет сказать», — вздохнул Бонами. Сам он никогда не выражался неуклюже, и темные высказывания Джейкоба его пугали и поражали одновременно, потому что ему был свойствен совсем иной способ мышления — определенный, конкретный, рациональный.

Ничего не могло быть проще того, что говорила Сандра, когда они спускались с Акро-Коринфа, она — по узенькой тропинке, а Джейкоб рядом с ней по бугристой земле. В четыре года она потеряла мать и парк был огромен.

— Казалось, из него никогда не выберешься, — засмеялась она. Конечно, существовала библиотека, и добрый мистер Джонс, и складывались понятия о разных вещах. — Я забиралась в кухню и сидела на коленях у дворецкого, — она засмеялась, впрочем, довольно грустно.

Джейкоб подумал, что, окажись он там, он бы ее спас, потому что — он это чувствовал — она подвергалась страшным опасностям, а еще, подумал он про себя: «Женщину, которая так говорит, обычно никто не понимает».

Ее не смущали ухабы, попадающиеся на пути, а под короткой юбкой, он заметил, у нее были надеты бриджи.

«Женщины вроде Фанни Элмер не такие, — подумал он, — и эта, как ее там... Карслейк тоже, они только притворяются...»

Миссис Уильямс обо всем говорила прямо. Он был поражен тем, как он сам, оказывается, хорошо воспитан; насколько больше можно выразить словами, чем он раньше думал; каким откровенным можно быть с женщиной и как плохо он прежде знал себя самого.

Эван нагнал их на дороге, и пока они ехали вверх и вниз по холмам (ведь Греция вся как будто вспенена и одновременно удивительно резко очерчена — безлесая страна, где видна земля между былинками, где холмы словно вырезаны, вылеплены и почти всегда выделяются на фоне сверкающих глубоких синих вод; где белые как песок острова плывут на горизонте, а редкие пальмовые рощицы растут в долинах, которые усыпаны черными козами, усажены маленькими оливами, а иногда и рассечены по бокам скрещивающимися и расходящимися в стороны белыми оврагами), пока они ехали вверх и вниз по холмам, он куксился в углу кареты, так крепко сжав в кулак свою ручищу, что кожа между костяшками пальцев натянулась, а волоски встали дыбом. Сандра сидела напротив, торжествующая, словно Ника, готовая вот-вот воспарить.

«Бессердечная», — думал Эван (что было неправдой).

«Безмозглая, — подозревал он (и это тоже было неправдой) — Однако!..» Он ей завидовал.

Когда настало время ложиться спать, Джейкоб обнаружил, что ему трудно что-нибудь написать Бонами. А ведь он повидал Саламин и издалека Марафон. Бедный Бонами! Нет, что-то в этом было странное. Не мог он писать Бонами.

«А в Афины я все равно поеду», — произнес он с очень решительным видом, ощущая, как в боку защемил крючок.

Уильямсы в Афинах уже побывали.

Афины до сих пор способны поразить молодого человека сочетанием самых разнородных вещей, немыслимым их соединением. Порой город провинциален, порой бессмертен. То на плюшевых подушках разложены дешевые европейские украшения. То статная женщина стоит, обнаженная, лишь волна ткани покрывает колено. Ему никак не разобраться в своих ощущениях, когда ослепительным полднем он прогуливается по Парижскому бульвару и едва увертывается от королевского ландо, неописуемо ветхого, которое дребезжит по колдобинам дороги, — под приветственные возгласы горожан обоего пола в небогатых европейских костюмах и котелках; меж тем как пастух в юбочке, кепке и гамашах гонит стадо коз чуть не между королевскими колесами, и тут же в воздух взмывает Акрополь, поднимающийся над городом как огромная застывшая волна с неколебимо стоящими на ней желтыми колоннами Парфенона.

Желтые колонны Парфенона, неколебимо стоящие на Акрополе, видны в любое время дня; впрочем, на закате, когда корабли в Пирее палят из пушек, звенит колокольчик и появляется человек в форме (но в расстегнутом жилете), и тогда женщины прячут черные чулки, которые они вяжут в тени колонн, зовут детей и, спустившись толпой с холма, расходятся по домам.

Вот они опять — колонны, фронтоны, храм Ники и Эрехгейон, стоящие на желто-коричневой скале, рассеченной тенями, видные сразу, как раскроешь утром ставни и высунешься наружу, и с улицы внизу донесутся грохот, гул и щелканье кнута. Вот они.

Необычайная определенность, с которой они стоят, то блистательно-белые, то снова желтые, а при некотором освещении красные, наводит на мысль о прочности, о появлении из-под земли некоего сгустка духовной энергии, которая в других местах рассеивается на элегантные пустячки. И прочность эта существует совершенно независимо от нашего восхищения. Хотя красота достаточно очеловечена, чтобы расслабить нас, растормошить глубокие залежи грязи — воспоминания, разрывы, сожаления, сентиментальные привязанности, — Парфенон отделен от всего этого, и если представишь себе, как он простоял здесь всю ночь, все эти столетия, то блеск его (в полдень солнце сияет так ослепительно, что фриза почти не видно) постепенно связывается с ощущением, что, пожалуй, только красота бессмертна.

А если к этому добавить, сопоставляя со вздувающейся лепниной, современные песенки о любви, звучащие под бречание гитары и граммофон, и неинтересные, хоть и подвижные лица на улицах, Парфенон

и в самом деле потрясает своим безмолвным спокойствием, столь напряженным, что вовсе не разрушенным он кажется, а, напротив, способным пережить все на свете.

«И греки, будучи разумными людьми, никогда не беспокоились об отделке статуи сзади», — думал Джейкоб, заслоня глаза от солнца рукой и отмечая, что та сторона фигуры, которая скрыта от взора, осталась незавершенной.

Он обратил внимание на неодинаковую высоту ступенек, которую, как он вычитал в путеводителе, «художественное чутье древних греков предпочитает математической точности».

Он постоял на том самом месте, где когда-то находилась великая статуя Афины, отыскивая взглядом достопримечательности раскинувшегося внизу города.

Короче говоря, он был внимателен и прилежен, но бесконечно угрюм. Кроме того, ему досаждали гиды. Так прошел понедельник.

Однако в среду он сочинил телеграмму Бонами, призывавшую его немедленно приехать. А потом скомкал ее и выбросил в канаву.

«Во-первых, он не приедет, — подумал он. — А потом, я думаю, это скоро пройдет». Под «этим» подразумевалось смутное, болезненное чувство, немного похожее на себялюбие, — уже почти просишь, чтобы его не стало, а оно растет и растет, выходя за все разумные пределы, — «если так будет продолжаться и дальше, я уже не смогу с ним совладать... но если бы здесь был еще кто-нибудь... Бонами заперся в своей камере в Линкольнз инн... ох, проклятье, прекрати, слышишь», — с одной стороны вид на Гиметт, Пентеликон, Ликабетт, с другой — на море, а ты стоишь у Парфенона на закате, небо в розовых перьях, равнина всех цветов радуги, темная желтизна мрамора перед глазами — вот отчего так тягостно. К счастью, Джейкоб не обладал особым чувством личной причастности; он редко представлял себе Платона или Сократа во плоти; вместе с тем у него было развито чутье к архитектуре; статуи нравились ему больше картин; и он начинал по-настоящему задумываться над проблемами цивилизации, которые, конечно, древние греки разрешили замечательно, но их решение, увы, непригодно для нас. Затем, в ночь со среды на четверг, когда он уже лег спать, крючок у него в боку сильно дернулся, и он в отчаянии резким движением перевернулся на другой бок, вспоминая Сандру Уэнтуорт-Уильямс, в которую был влюблен.

На следующий день он поднимался на Пентеликон.

Через день он пошел наверх к Акрополю. Время было раннее, места

вокруг почти пустынные; где-то далеко как будто гремел гром. Но над Акрополем ярко сияло солнце.

Джейкоб намеревался посидеть наверху и почитать, и, обнаружив удобно расположенный мраморный цилиндр, с которого был виден Марафон и который к тому же оставался в тени, хотя прямо перед ним светился белизной Эрехтейон, он там и устроился. Прочитав страницу, он заложил книгу пальцем. Почему бы не управлять государствами как следует? И он продолжал читать.

Место, выбранное им, с видом на Марафон, несомненно, улучшило его настроение. А может быть, подобные взлеты вообще свойственны медлительному, но крупному интеллекту? Или за то время, что он был за границей, он незаметно для себя втянулся в размышления о политике?

Но когда он поднял глаза и увидел резкие контуры, его размышления приобрели неожиданную остроту; с Древней Грецией все было кончено: Парфенон лежал в руинах; однако сам он был здесь.

(По двору проходили дамы с зелеными и белыми зонтиками, француженки, остановившиеся в Афинах на пути к мужьям в Константинополь.)

Джейкоб продолжал читать. И потом, положив книгу на землю, как будто вдохновленный тем, что прочел, он принялся писать заметки о значении истории, о демократии — один из тех набросков, которые могут стать основанием для главного труда жизни или, напротив, вывалиться из книжки двадцать лет спустя, и ни единого слова из них не вспомнишь. Это довольно неприятно. Пожалуй, их лучше всего сжечь.

Джейкоб писал, потом стал рисовать прямой нос; внизу под ним француженки, открывая и закрывая зонтики, восклицали, глядя на небо, что не знаешь, чего ждать — будет дождь или нет?

Джейкоб поднялся к побрел к Эрехтейону. Там еще осталось несколько кариатид, держащих свод на головах. Джейкоб слегка выпрямился, потому что устойчивость и равновесие в первую очередь воздействуют на тело. Как ничтожно все вокруг, рядом с этими статуями! Он всмотрелся в них, потом повернулся и увидел мадам Люсьен Граве, которая, взгромоздившись на мраморную глыбу, направила на него фотоаппарат. Она, конечно, немедленно спрыгнула, несмотря на свой возраст, фигуру и тесные башмаки, — ведь теперь, выдав дочку замуж, она с великолепным безрассудством, по-своему даже замечательным, превратилась в толстую каракатицу; она спрыгнула, но не прежде, чем Джейкоб сумел ее заметить.

«Будь прокляты эти женщины! Будь они прокляты!» — подумал он. И

пошел за своей книжкой, которую забыл на земле у Парфенона.

«Как они все портят!» — бормотал он, прислонившись к одной из колонн, крепко зажав книгу под мышкой. (Что же касается погоды, наверняка скоро будет гроза; над Афинами повисла туча.)

«Все из-за этих проклятых женщин», — произнес Джейкоб без тени горечи, но скорее с грустью и досадой, ибо никогда не будет того, что могло бы быть.

(Такое острое разочарование довольно часто ощущают молодые люди во цвете лет, здоровые душой и телом, которым вскоре предстоит стать отцами семейств и директорами банков.)

Затем, убедившись, что француженки ушли, и осторожно оглядываясь по сторонам, Джейкоб побрел к Эрехтейону, поглядывая украдкой на богиню, которая слева от него держала свод на голове. Она напоминала ему Сандру Уэнтворт-Уильямс. Он посмотрел на нее и отвернулся. Посмотрел и отвернулся. Он был необычайно взволнован и, думая о разбитом греческом носе, думая о Сандре, думая о тысяче разных других вещей, отправился прямо на вершину горы Гиметт, один, по жаре.

В этот самый день Бонами, специально чтобы поговорить о Джейкобе, поехал на чай к Кларе Даррант на площадь за Слоун-стрит, где окна фасада в жаркие весенние дни занавешены полосатыми шторами, у входа стоят одноконные экипажи и лошади бьют копытом о щебенку, а пожилые господа в желтых жилетах звонят в звонок и чрезвычайно вежливо входят в дом, когда воспитанная горничная отвечает, что миссис Даррант дома.

Бонами сидел с Кларой в залитой солнцем гостиной; на улице сладко пела шарманка; медленно катилась поливальная повозка, орошая мостовую; позвякивали кареты, а все серебро, мебельная обивка, синие и коричневые ковры и вазы с зазеленевшими ветками были рассечены трепещущими желтыми полосами.

Вряд ли стоит приводить их совершенно бесцветную беседу. Бонами негромким голосом учтиво отвечал на вопросы и все больше и больше изумлялся столь обескровленному, втиснутому в белую атласную туфельку существованию (в соседней комнате тем временем пронзительно звучали политические суждения, излагаемые миссис Даррант сэру Такому-то), пока наконец девственность Клариной души не показалась ему искренней, а глубины ее бездонными, и он только потому не произнес имя Джейкоба, что к этому моменту уже был совершенно уверен, что в Джейкоба она влюблена и абсолютно ничего не может с этим поделать.

— Абсолютно ничего! — воскликнул он, когда дверь за ним

захлопнулась, и, проходя по парку, вдруг почувствовал — что было очень странно для человека его склада, — как неудержимо влекутся куда-то кареты, как строго геометрично разбиты клумбы и как некая сила пробивает эту геометрическую правильность совершенно безумным способом. «Неужели Клара, — подумал он, останавливаясь, чтобы поглядеть на мальчишек, купающихся в озере Серпантин, — это та самая безмолвная женщина? Неужели она станет женой Джейкоба?»

Но в Афинах, в ярком солнечном свете, в Афинах, где почти невозможно добиться, чтобы днем подали чай, и пожилые господа, рассуждающие о политике, рассуждают о ней шиворот-навыворот, в Афинах, вытянув ноги и положив локоть на ручку бамбукового кресла, сидела Сандра Уэнтворт-Уильямс с опущенной вуалью, одетая в белое, и голубые клубочки дыма, колыхаясь, уплывали прочь от ее сигареты.

Апельсиновые деревья, которые растут на площади Конституции, оркестр, шарканье ног, небо, дома лимонного и розового цвета — все это после второй чашки кофе приобрело такую значительность для миссис Уэнтворт-Уильямс, что она стала разыгрывать сама с собой историю о благородной и пылкой англичанке, которая в Микенах пригласила к себе в карету старую американскую даму (миссис Дагган), — историю не вполне вымышленную, хотя и умалчивающую об Эване, который стоял сперва на одной ноге, потом на другой и ждал, пока женщины наговорятся.

— Я перелагаю стихами жизнь отца Дамьена^[26] — сказала тогда миссис Дагган, потому что она потеряла все, все на свете — мужа, ребенка и все вообще, но сохранила веру.

Сандра, переносясь от частного к всеобщему, лежала, откинувшись в забытии.

Бег времени, так трагически подгоняющий нас; вечное напряжение и гудение, вдруг взрывающееся огненными вспышками, как эти недолговечные оранжевые шарики в зеленой листве (она глядела на апельсиновые деревья); поцелуи на губах, которым суждено так скоро растаять; мир, вертящийся в сумятице жары и шума, — хотя вечер, конечно, выдался тихий, с очаровательной этой блеклостью. «Потому что я все ощущаю и с той и с другой стороны, — думала Сандра, — и миссис Дагган теперь всегда будет мне писать, и я буду отвечать ей». Тут от музыки королевского оркестра, марширующего мимо с национальным флагом, разошлись еще более широкие круги чувства, и жизнь предстала чем-то таким, куда взбираются смельчаки, чтобы уйти в далекое море, — и волосы их развеваются (так она себе это представляла, а ветерок чуть шевелил апельсиновые деревья), и она сама возникала из россыпи

серебряных брызг — в этот момент она увидела Джейкоба. Он стоял на площади с книгой под мышкой, рассеянно озираясь. Что он крепко сложен, а со временем может и погрузнеть, было очевидно.

Но она-то полагала, что он просто-напросто неотесанный медведь.

— Вон этот молодой человек, — недовольно сказала она, отбрасывая сигарету, — этот мистер Фландерс.

— Где? — спросил Эван. — Я не вижу.

— Ну, вон там, уходит, сейчас он за деревьями. Нет, тебе не видно. Но мы наверняка еще его встретим, — и, разумеется, так и случилось.

Но насколько он был просто-напросто неотесанный медведь? Насколько туповат был Джейкоб Фландерс в возрасте двадцати шести лет? Бессмысленно пытаться понять людей. Надо схватывать намеки — не совсем то, что говорится, однако и не вполне то, что делается. Правда, есть люди, которые постигают характер мгновенно и навсегда. Другие мешкают, медлят, их заносит то туда, то сюда. Добрые старые дамы убеждены, что лучше всех разбираются в людях кошки. К хорошему человеку кошка всегда пойдет, уверяют они; однако хозяйка Джейкоба, миссис Уайтхорн, терпеть не могла кошек.

Есть еще одно весьма почтенное мнение, что нынче уж слишком много копаются в чужих характерах. Неужели так важно в конце концов, что Фанни Элмер — это сплошь чувства и переживания, что миссис. Даррант тверда как камень, что Клара, главным образом из-за материнской властности (так утверждают знатоки характеров), еще ни разу в жизни не имела возможности поступить как ей вздумается, и только очень пристальному взгляду удавалось различить в ней глубину чувства, от которой можно; не на шутку встревожиться; и что ей, очевидно, предстоит растратить себя на человека недостойного, если только она (так рассуждали знатоки) не унаследовала хоть искру материнского духа, — в общем, не была в некотором роде личностью героической. Боже, какое слово в применении к Кларе Даррант! Простодушной до крайности считали ее другие. И именно поэтому, так рассуждали они, Клара нравится Дику Бонами — этому молодому человеку с носом, как у Веллингтона. А вот уж он действительно темная лошадка. И здесь сплетники внезапно останавливались. Очевидно, они собирались намекнуть на некоторые странности его натуры, давно уже ими обсуждаемые.

— Но случается, что человеку такого типа как раз нужна женщина вроде Клары... — размышляет, бывало, мисс Джулия Элиот.

— Что ж, — отвечает ей мистер Боули, — может быть, и так.

Потому что, как бы долго сплетники ни сидели, сколько бы ни потрошили характеры своих жертв, пока те не станут распухшими и нежными, как гусиная печенка над пылающим огнем, к окончательному выводу они никогда не приходят.

— Вот этот молодой человек, Джейкоб Фландерс, — говорят они, — так благородно выглядит — и так неловок. — Затем они прилепляются к Джейкобу и бесконечно раскачиваются между этими двумя полюсами. — Охотился с гончими, но всего раз-другой, потому что у него нет ни пенса.

— Вы когда-нибудь слышали, кто был его отец? — поинтересовалась Джулия Элиот.

— Говорят, что его мать в каком-то родстве с Роксбиерами, — ответил мистер Боули.

— Нельзя сказать, что он чересчур утруждает себя работой.

— Друзья очень его любят.

— Вы о Дике Бонами?

— Нет, я не это имел в виду. С Джейкобом, наверное, все наоборот. Он как раз из тех, кто в юности по уши влюбляется, а потом всю жизнь об этом жалеет.

— Мистер Боули, — сказала миссис Даррант, по обыкновению решительно наступая на них. — Вы, конечно, помните миссис Адамс? Ну, так это ее племянница. — И мистеру Боули пришлось подняться, любезно раскланяться и принести клубнику.

А мы, стало быть, снова пытаемся понять, что имеет в виду другая сторона — мужчины в клубах и Кабинетах, — когда говорят, что изучение характера — пустячное домашнее развлечение, нечто вроде вышивания или возни с изящными силуэтами, пустыми внутри, всякими там завитушками и обыкновенными загогулинами.

Линейные корабли в Северном море лучами расходятся в стороны, держась на точно отмеренном расстоянии друг от друга. По сигналу все пушки наведены на цель, которая (сержант артиллерии с часами в руке отсчитывает секунды — на шестой он поднимает глаза) взлетает на воздух. Столь же невозмутимо десятки молодых людей в расцвете сил уходят со спокойными лицами в морские глубины, и там вполне бесстрастно (однако в совершенстве владея техникой), не жалуясь, все вместе задыхаются. Словно отряды оловянных солдатиков, армия занимает поле, взбирается по холму, останавливается, слегка откатывается в одну сторону, в другую и падает плашмя, и только в полевой бинокль видно, что одна-две фигурки еще двигаются вверх-вниз, как обломки спичек.

Говорят, что эти действия вместе с бесконечными сношениями между

банками, лабораториями, канцеляриями и фирмами и есть те удары весла, которые двигают мир вперед. И производят их люди, вылепленные так же аккуратно, как бесстрастный полицейский на Ладгейт-Серкус. Однако поглядев на него, замечаешь, что лицу его вовсе не свойственна мягкая округлость, напротив, оно жесткое от волевого усилия и вытянутое от стремления остаться таким навеки. Когда вздымается правая рука, вся сила в жилах направляется прямо от плеча к кончикам пальцев; ни капли не уходит на внезапные порывы, сентиментальные сожаления, утонченные оттенки. Омнибусы послушно замирают.

Говорят, что так мы живем — движимые непостижимой силой. Говорят, и писателям никак ее не ухватить; она со свистом проносится сквозь все приготовленные для нее сети, разрывая их в клочья. Вот, говорят, что управляет нашей жизнью — эта самая непостижимая сила.

— Где солдаты? — спросил старый генерал Гиббонс, оглядывая гостиную, полную, как обычно воскресным вечером, хорошо одетых людей. — Где пушки?

Миссис Даррант тоже огляделась.

Клара, думая, что мать ищет ее, вошла в гостиную, затем снова вышла.

У Даррантов разговаривали о Германии, а Джейкоб (движимый все той же непостижимой силой) быстро шагал по улице Гермеса и нос к носу столкнулся с Уильямами.

— Ах! — воскликнула Сандра, внезапно искренне обрадовавшись.

А Эван прибавил: — Как удачно!

Обед, которым они его потчевали в отеле с видом на площадь Конституции, был превосходен. В специальных корзинках лежали свежие булочки. Масло было настоящее. А мясо совершенно напрасно так стыдливо пряталось под желе, в котором застыли бесчисленные красные и зеленые овощи.

Но все это было странно. На багряном полу с монограммой греческого короля, выделанной желтым, на некотором расстоянии друг от друга стояли столики. Сандра обедала в шляпе, по обыкновению не поднимая вуали. Эван оглядывался по сторонам, непроницаемый и в то же время обходительный, и иногда вздыхал. Странно все это было. Они, англичане, встретились майским вечером здесь, в Афинах. Джейкоб, накладывая себе на тарелку то того, то другого, отвечал впопад, но голос его звенел.

На следующий день рано утром Уильямсы уезжали в Константинополь, сообщили они ему.

— Вы еще будете спать, — сказала Сандра.

Стало быть, они бросают его одного. Слегка обернувшись, Эван что-то заказал — бутылку вина, из которой он налил Джейкобу как-то очень заботливо, как-то по-отечески заботливо, если только это возможно. Молодому человеку полезно остаться одному. Никогда еще стране так не были нужны люди. Он вздохнул.

— А к Акрополю вы поднимались? — спросила Сандра.

— Да, — ответил Джейкоб. И они вдвоем отошли к окну, пока Эван договаривался с метрдотелем, чтобы их завтра рано разбудили.

— Он удивителен, — хриплым голосом произнес Джейкоб.

Глаза Сандры приоткрылись чуть шире. Ноздри ее, вероятно, тоже слегка раздулись.

— Значит, в полседьмого, — объявил Эван, подходя к ним так, словно видел что-то еще, а не только жену и Джейкоба, стоящих спиной к окну.

Сандра улыбнулась ему.

И так как он встал рядом с ними у окна и сказать ему было нечего, она добавила отрывисто, не кончая фраз:

— Это было бы замечательно... Правда же?.. К Акрополю, Эван... или ты устал?

Эван в ответ посмотрел на них или, вернее, — поскольку Джейкоб устался в пространство — на жену, угрюмо, мрачно и при этом как-то страдальчески, — но вряд ли она его пожалеет. И что бы он сейчас ни сделал, вряд ли неумолимый дух любви прервет свою пытку.

Они ушли, а он остался сидеть в курительной комнате с видом на площадь Конституции.

— Эвану совсем неплохо одному, — сказала Сандра. — Мы все это время жили без газет. Лучше ведь, когда каждый делает то, что ему нравится... А вы с нашей последней встречи столько повидали... Такие чудесные впечатления... По-моему, вы переменялись.

— Вы хотели подняться к Акрополю, — сказал Джейкоб, — тогда сюда, наверх.

— Такое запомнится на всю жизнь, — проговорила Сандра.

— Да, — согласился Джейкоб. — Жалко, что вы не были здесь днем.

— Так еще чудеснее, — ответила Сандра, взмахнув рукой.

Джейкоб рассеянно огляделся.

— Вам обязательно надо повидать Парфенон днем, — повторил он. — А завтра никак не получится? Вы совсем рано уезжаете?

— И вы сидели там несколько часов в полном одиночестве?

— Утром тут были жуткие женщины, — ответил Джейкоб.

— Жуткие женщины? — переспросила Сандра.

— Француженки.

— Но ведь все равно произошло какое-то чудо, — сказала Сандра. Десять минут, пятнадцать, от силы полчаса — вот все время, что было ей отпущено.

— Да, — отозвался он.

— В вашем возрасте... в юности... Что с вами будет? Вы полюбите — наверняка! Но не надо спешить. Я настолько старше вас.

Марширующие войска заставили ее сойти с тротуара.

— Пойдем дальше? — спросил Джейкоб.

— Пойдем, пойдем, — потребовала она.

Не могла же она остановиться, не сказав ему... или не услышав от него... или ей хотелось, чтобы он что-то сделал? Она различала нечто далеко на горизонте и не могла успокоиться.

— Англичане никогда не станут вот так сидеть на улицах, — заметил он.

— Конечно нет — ни за что. Вы вернетесь в Англию и будете все это вспоминать... или поедem с нами в Константинополь! — внезапно воскликнула она.

— Но тогда...

Сандра вздохнула.

— Конечно, вам непременно надо побывать в Дельфах, — сказала она. «Что же все-таки, — спросила она себя, — мне от него нужно? Может быть, что-то, что я упустила в жизни...»

— Приедете туда около шести вечера, — говорила она. — Увидите орлов.

В свете фонаря на углу Джейкоб казался решительным и даже готовым на все, но при этом спокойным. Наверное, он страдал. Он был доверчив. Но и едкость какая-то тоже в нем ощущалась. В него уже запали семена жесточайшего разочарования, до которого в зрелости доведут его женщины. Может быть, только если изо всех сил стараться достичь вершины горы, удастся как-то его избежать — этого разочарования, возникающего в зрелости из-за женщин.

— Отель наш ужасен, — сказала она. — Те, кто жили до нас, оставили в тазиках грязную воду. И вечно что-нибудь такое, — засмеялась она.

— Да, люди, которых здесь встречаешь, — отвратительны, — подтвердил Джейкоб.

Было заметно, что он крайне возбужден.

— Пишите мне об этом, — попросила она. — И о том, что вы думаете и чувствуете. Рассказывайте мне обо всем.

Ночь была темной. Зубчатым курганом вырисовывался Акрополь.

— Мне бы этого ужасно хотелось, — отозвался он.

— А когда вернемся, встретимся в Лондоне...

— Да.

— Ворота, я надеюсь, не запираются? — спросил он.

— А мы перелезем! — крикнула она бесшабашно.

Заслоняя луну и погружая Акрополь во мрак, с востока на запад плыли облака. Облака затвердевали, испарения делались гуще, стелющаяся дымка замерла на месте и начала разрастаться.

В Афинах стало совсем темно, если не считать тоненьких красных полосок, бегущих вдоль улиц, и мертвенно-бледного от электрического света фасада Дворца. В море здесь и там горели точки далеко уходящих пирсов, волны были невидимы, и темными горбами казались едва освещенные мысы и острова.

— Мне бы очень хотелось прийти с братом, если вы позволите, — прошептал Джейкоб.

— А потом, когда в Лондон приедет ваша матушка... — сказала Сандра.

Вся Греция была во тьме, а где-то около Эвбеи туча как будто коснулась волн и забрызгала их, — дельфины, кружась, уходили все дальше и дальше в море. Бешеный ветер неистовствовал сейчас в Мраморном море между Грецией и долинами Трои.

В Греции и в горных частях Албании и Турции ветер выскребывает песок и пыль и сам себя густо засекает сухими крупинками. А затем барабанит по гладким куполам мечетей и заставляет скрипеть и щетиниться суровые кипарисы, растущие у мусульманских гробниц с изображением чалмы.

Вуаль Сандры вихрем обвилась вокруг головы.

— Я дам вам свою книжку, — сказал Джейкоб. — Держите. Вы не расстанетесь с ней?

(Это были стихи Донна.)

Вот волнующийся воздух сделал видимой падающую звезду. Вот снова потемнело. Вот один за другим погасли огни. Вот великие столицы — Париж — Константинополь — Лондон — стали черными, как одиноко разбросанные скалы. Различимы были только линии рек. В Англии на деревьях шумела густая листва. А тут, может быть, в каком-нибудь южном лесу старик поджигал сухой папоротник и птицы испуганно взмывали

вверх. Кашляли овцы; один цветок слегка склонялся к другому. Английское небо нежнее, молочнее восточного. Какая-то мягкость передается ему от округлых холмов, поросших травой, какая-то сырость. Соленый штормовой ветер подул в окно спальни Бетти Фландерс, и вдова, слегка приподнявшись на локте, вздохнула, как всякий, кто ощущает, но охотно отодвинул бы еще хоть ненадолго — ах! хоть ненадолго! — гнет вечности.

Но вернемся к Джейкобу и Сандре.

Они исчезли. Акрополь был там, где всегда, но добрались ли они до него? Колонны и храм остаются, а чувства живых разбиваются о них сизнова год за годом, и что остается от этих чувств?

А что касается того, добрались ли они до Акрополя, кто скажет, добираемся ли мы до него когда-нибудь вообще и обнаружил ли Джейкоб, проснувшись на следующее утро, что-нибудь осязаемое и прочное, что он бы мог сохранить навсегда? И все же он поехал с ними в Константинополь.

Впрочем, Сандра Уэнтворт-Уильямс, проснувшись, нашла у себя на туалетном столике книжку стихов Донна. И книжка эта встанет на полку в английском загородном доме, где вскоре к ней присоединится стихотворное жизнеописание отца Дамьена, сочиненное Салли Дагган. Там уже стоит добрый десяток томиков. Забредя в комнату в сумерках. Сандра откроет эти книги, глаза ее заблестят (отнюдь не под воздействием того, что там написано), и, опускаясь в кресло, она вновь будет вбирать в себя самую душу мгновения; или в те дни, когда ей никак не найти себе места, она станет вытаскивать книгу за книгой, перелетая над всем пространством своей жизни, как акробат с перекладины на перекладину. У нее в жизни были мгновения. Между тем на площадке тикают огромные часы, и Сандра, слушая, как накапливается время, вдруг спросит себя: «Зачем? Зачем?»

«Зачем? Зачем?» — будет повторять Сандра, ставя книгу на место, и медленно подойдет к зеркалу, и пригладит волосы. И мисс Эдвардс за обедом, собираясь положить в рот кусок жареной баранины, вздрогнет от ее внезапной участливости: «Вы счастливы, мисс Эдвардс?» — вот уж проблема, над которой Сисси Эдвардс давным-давно не задумывалась!

«Зачем? Зачем?» Джейкоб никогда не задавал себе таких вопросов, если судить по тому, как он шнуровал ботинки, как брился или как крепко спал в ту ночь, когда ветер теребил ставни и полдюжины комаров звенело у него над ухом. Он был молод — и мужчина. И вдобавок Сандра была права, когда считала его еще доверчивым. В сорок все могло бы быть по-другому. И сейчас уже те места, которые он отметил в Донне, потому что

они ему нравились, были достаточно неистовы. Однако они выдерживали сравнение с образами чистейшей поэзии у Шекспира.

Но ветер катил темноту по афинским улицам, катил ее, словно с каким-то все подавляющим напором, который не дает возможности разобраться в чувствах отдельного человека или разглядеть его черты. Все лица — греческие, левантийские, турецкие, английские — оказались бы похожи в темноте. Но наконец колонны и Храмы белеют, желтеют, розовеют; встают пирамиды и собор Святого Петра, и, в конце концов, подымается неповоротливый собор Святого Павла.

Христианам дано право будить большинство городов своим истолкованием значения наступающего дня. Затем, уже не столь мелодично, раскольники из разных сект вносят свои придирчивые поправки. Пароходы, гудящие как гигантские камертоны, сообщают старую, старую истину — что неподалеку колышется холодное и зеленое море. Но нынче самые большие массы людей собирает тоненький голос долга, со свистом вырывающийся белой нитью из верхушки трубы, и ночь — это всего лишь протяжный вздох между ударами молота, глубокое дыхание, слышное из открытого окна даже в центре Лондона.

Но кто, кроме людей с истощенными нервами, страдающих бессонницей, и мыслителей, закрывших глаза руками на каком-нибудь утесе над толпой, видит вот так — лишь остов вещей, скелет, лишенный плоти? В Сербитоне скелет облачен в плоть.

— Когда с утра солнце, чайник всегда медленнее закипает, — говорит миссис Грандидж, поглядывая на часы на каминной полке. Ее серый персидский кот потягивается на подоконнике и мягкой круглой лапой прихлопывает мотылька. Завтрак еще не кончен (они сегодня припозднились), а малыш уже сидит у нее на коленях, и она должна оберегать от него сахарницу, а Том Грандидж читает в «Таймс» статью о гольфе, прихлебывает кофе, утирает усы и отправляется в контору, где он главный авторитет по вопросам иностранной валюты и вот-вот получит повышение.

Скелет плотно облачен в плоть. Даже этой темной ночью ветер, катящий темноту по Ломбард-стрит, и по Феттер-лейн, и по Бедфорд-сквер, задевает (потому что лето и разгар сезона) платаны в блесках электричества и шторы, все еще защищающие комнаты от рассвета. Люди все еще шепотом повторяют последние слова, сказанные на лестнице, или напрягаются сквозь все свои сны, чтобы не пропустить звонок будильника. Точно так же, когда ветер прогуливается по лесу, шевелятся бесчисленные веточки, колышется пчелиный рой, раскачиваются на былинках насекомые,

паук спешит спрятаться в утолщение коры и весь воздух дрожит от дыхания, упругий от множества волокон.

Правда, здесь — на Ломбард-стрит, и на Феттер-лейн, и на Бедфорд-сквер — каждое насекомое держит в голове земной шар, и лесные паутины — это заговоры, плетущиеся, чтобы дела шли гладко, а мед — это какая-нибудь драгоценность, а шевеление воздуха — неопишное волнение жизни.

Но возвращаются краски, избегают по стебелькам травы, расцветают в тюльпанах и крокусах, прорезают аккуратные бороздки на стволах деревьев и пропитывают прозрачный воздух, луга и пруды.

Всплывает Английский банк и Монумент^[27] со своим золотым ежиком волос, ломовые лошади, бредущие через Лондонский мост, оказываются серыми, малиновыми, стальными. Шелест крыльев наполняет здание вокзала, когда в него врываются пригородные поезда. И свет карабкается по фасадам всех высоких зашторенных домов, пролезая в щели и раскрашивая блестящие раздувающиеся алые занавески, зеленые бокалы, кофейные чашечки и косо стоящие стулья.

Солнце бьет в зеркальце для бритья и в тускло поблескивающие медные баночки, во все веселое снаряжение дня — ясного, любопытного, одетого в доспехи, сияющего летнего дня, который давно уже победил хаос, разогнал унылый средневековый туман, осушил болото и поставил на его месте камень и стекло, и снабдил наши головы и тела таким разнообразным вооружением, что просто глядеть на блеск и мельканье рук и ног, занятых повседневной жизнью, куда интереснее, чем на старинные парады армий, выстроившихся на равнине в боевом порядке.

XIII

— Разгар сезона, — сказал Бонами.

Солнце уже раскалило краску на спинках зеленых стульев в Гайд-парке так, что она пошла пузырями; содрало кожу с платанов и превратило землю в порошок и гладкие желтые камешки. По Гайд-парку беспрерывно кружили вращающиеся колеса.

— Разгар сезона, — сказал Бонами саркастически.

Он был настроен саркастически из-за Клары Даррант: из-за того, что Джейкоб вернулся из Греции очень загорелый и похудевший и вытащил из кармана кипу греческих банкнот, когда служитель парка подошел к нему, чтобы получить пенс за стул; из-за того, что Джейкоб все время молчал.

«Даже не сказал, что рад меня видеть», — подумал Бонами с горечью.

Автомобили нескончаемым потоком неслись через мост над озером Серпантин, высшие сословия с безупречной осанкой прогуливались или грациозно облакачивались о перила; низшие сословия лежали на спине, выставив колени; овцы на остроконечных деревянных ножках щипали траву, маленькие дети разбегались, раскинув руки, по зеленому склону и падали.

— Очень изысканно, — наконец произнес Джейкоб.

«Изысканно» в устах Джейкоба таинственным образом отражало всю гармоничность характера, который с каждым днем казался Бонами еще более возвышенным, сокрушительным, ошеломляющим, чем когда-либо, хотя по-прежнему был и, наверное, так теперь и останется необузданным и темным.

Что за преувеличения! Что за эпитеты! Ну как не обвинять Бонами в самой жуткой сентиментальности; в том, что его несет, словно пробку по волнам; в том, что он совершенно не умеет разбираться в людях, не руководствуется доводами рассудка и не получает решительно никакого удовольствия от чтения классиков!

— Разгар цивилизации, — сказал Джейкоб.

Он любил высокие слова.

Великодушие, добродетель — когда Джейкоб в разговоре с Бонами начинал употреблять такие слова, это обычно означало, что он хозяин положения, что Бонами будет прыгать вокруг него как преданный спаниель и что (почти наверняка) они кончат катаньем по полу.

— Ну, а Греция? — спросил Бонами. — Парфенон и все прочее?

— Чего там нет, так это нашего европейского мистицизма, — ответил Джейкоб.

— Наверное, все дело в атмосфере, — проговорил Бонами. — А ты и в Константинополе побывал?

— Да, — сказал Джейкоб.

Бонами помолчал, переложил камешек с места на место и вдруг рванулся вперед, проворно и уверенно, как язычок ящерицы.

— Ты влюбился! — выпалил он.

Джейкоб покраснел.

Острейший нож не мог бы вонзиться так глубоко.

Вместо того чтобы ответить или по крайней мере как-то отреагировать. Джейкоб уставился прямо перед собой, неподвижный, монолитный, — очень-очень красивый! — точь-в-точь британский адмирал, — в ярости воскликнул Бонами, вскакивая со своего места и уходя прочь, — ожидая все же услышать хоть что-нибудь, однако ничего не последовало, а гордость мешала ему обернуться, — все убыстряя и убыстряя шаг, пока наконец не обнаружил, что разглядывает тех, кто сидит в автомобилях, и проклинаят женщин. Какое личико у этой красотки? Кларино? — Фаннино? — Флориндино? Кто же эта прелесть?

Во всяком случае не Клара Даррант.

Скотч-терьера надо выгуливать, а так как мистер Боули именно в эту минуту собрался уходить и просто мечтал пройтись — они вышли вместе: Клара и добрый, милый Боули — Боули, который жил в Олбани, посылал в «Таймс» шутливые заметки о заграничных отелях и северном сиянии, Боули, который любил молодежь и шел по Пиккадилли, держа правую руку на пояснице.

— Безобразник! — закричала Клара и взяла Троя на поводок.

Боули предвкушал — рассчитывал — услышать признание. Клара души не чаяла в матери, но все же иногда ощущала, что та немножечко, ну настолько уверена в себе, что ей трудно понять других людей, таких — «таких несуразных, как я», вырвалось у нее (собака тянула ее вперед). И Боули подумал, что Клара сейчас похожа на охотницу, и попытался сообразить, на какую же — на какую-нибудь бледную деву с лунным серпом в волосах, что для Боули было воистину взлетом воображения.

Щеки ее стали пунцовыми. Так прямо говорить о матери — правда, только с мистером Боули, который очень ее любит, дай бог, чтобы все ее так любили; но говорить ей было неловко, хотя весь день она промучилась, чувствуя, что ей просто необходимо с кем-нибудь поделиться.

— Подожди, сейчас перейдем дорогу, — сказала она, наклонившись к собаке.

К счастью, к этому моменту она овладела собой.

— Мама так много думает об Англии, — сказала она. — Так беспокоится...

Боули, как обычно, остался в дураках. Клара никогда ни с кем не откровенничала.

«Да почему молодые люди не могут все это уладить? — хотелось ему спросить. — Ну что, что такого с Англией?» — Вопрос, на который бедная Клара не могла бы ему дать ответа, потому что, пока миссис Даррант обсуждала с сэром Эдгаром политику сэра Эдварда Грея, Клара думала о том, почему шкафчик опять весь в пыли, а Джейкоб все не приезжает и не приезжает. А тут как раз пришла миссис Каули Джонсон...

И Клара подала очаровательные фарфоровые чашечки и улыбнулась, услышав комплимент, — никто в Лондоне не умеет заваривать чай так, как она.

— Мы покупаем у Броклбанка, — сказала она, — на Керзитор-стрит.

Может ли она не быть благодарна? Может ли она не быть счастлива? Особенно когда мама так хорошо выглядит и так наслаждается беседой с сэром Эдгаром о Марокко, Венесуэле или каком-то другом похожем месте.

«Джейкоб! Джейкоб!» — думала Клара, и добрый мистер Боули, который чрезвычайно любезно беседовал со старыми дамами, взглянул на нее, замолчал, спросил себя, не слишком ли Элизабет строга с дочерью; спросил себя, который же из молодых людей — Бонами, Джейкоб? — и подскочил в ту самую секунду, когда Клара сказала, что пойдет выгуливать Троя.

Они дошли до места, где когда-то была Выставка^[28]. Полюбовались тюльпанами. Прямые и изгибающиеся палочки, гладкие, словно восковые, поднимались из земли, ухоженные, но строгие, залитые алым и коралловым цветом. У каждого была своя тень, каждый рос аккуратно, в ромбовидном клинышке, как задумал садовник.

«У Барнса никогда не получается, чтобы так росли», — подумала Клара; она вздохнула.

— А вы не замечаете знакомых, — проговорил Боули, когда кто-то из идущих навстречу приподнял шляпу. Она вздрогнула, ответила на поклон мистера Лайонела Парри, потратив на него то, что предназначалось Джейкобу.

(«Джейкоб! Джейкоб!» — подумала она.)

— Тебя же задавят, если я тебя отпущу, — сказала она собаке.

— С Англией, по-моему, все в порядке, — произнес мистер Боули.

Внутри кольца, которое описывали перила вокруг статуи Ахиллеса^[29], было полно зонтиков и жилетов; браслетов и цепочек; гуляющих дам и господ, изящных, небрежно-внимательных.

«Статуя воздвигнута женщинами Англии...» — прочитала Клара вслух, глуповато хихикая. — Ой, мистер Боули, ой! — Скок-скок-скок-мимо проскакала лошадь без всадника. Болтались стремяна, камешки брызгами летели из-под ног.

— Остановите! Остановите ее, мистер Боули! — кричала она, бледная, дрожащая, схватив его за руку, ничего вокруг не замечая, и слезы лились у нее из глаз.

— Ай-ай-ай! — говорил мистер Боули у себя в гардеробной час спустя. — Ай-ай-ай! — что было достаточно глубоким замечанием, хотя и не очень внятно выраженным, поскольку в этот момент камердинер подавал ему запонки.

Джулия Элиот тоже видела убежавшую лошадь и поднялась с места, чтобы посмотреть, чем кончится происшествие, которое ей, выросшей в семье, где все занимались спортом, показалось немного комичным. И разумеется, вслед за лошадью появился запыхавшийся человек в запыленных бриджах, чрезвычайно раздраженный, и полицейский стал помогать ему взобраться на лошадь, а Джулия Элиот, презрительно усмехаясь, повернула в сторону Марбл-Арч, куда ее вел долг милосердия. Ей предстояло всего лишь провести больную старую даму, которая знала еще ее мать и, кажется, герцога Веллингтонского тоже; ибо Джулия разделяла свойственное ее полу пристрастие к несчастным; любила посещать умирающих; бросала башмачки на свадьбах; выслушивала сотни сердечных тайн; знала больше родословных, чем ученый знает дат; и была одной из самых отзывчивых, самых великодушных и наименее чопорных женщин.

И все же через пять минут после того, как она прошла мимо статуи Ахиллеса, она уже казалась погруженной в себя, как всякий, кто продирается летом сквозь толпу, когда шелестят деревья, а из-под колес взвизгивает желтизна, и сегодняшняя суতোлка подобна элегии об ушедшей юности и ушедших летних днях, и в душе у нее росла какая-то непонятная печаль, словно время и вечность просвечивали сквозь жилеты и юбки, и люди у нее на глазах обреченно двигались к концу. Однако, видит бог,

Джулия была не дура. Ни одна женщина не могла сравниться с ней по части деловой сметки. К тому же она отличалась пунктуальностью. Часы у нее на запястье отводили ей двенадцать с половиной минут на то, чтобы добраться до Брутон-стрит. Леди Конгрив ждала ее к пяти.

Позолоченные часы у Верри били пять.

Флоринда с тупым, животным выражением посмотрела на них. Она посмотрела на часы; посмотрела на дверь; посмотрела в длинное зеркало напротив; сняла плащ; придвинулась поближе к столу, потому что была беременна — и сомневаться нечего, говорила матушка Стюарт, предлагая средства, советуясь с приятельницами; Флоринда, так легко ступавшая по земле и вот споткнувшаяся, упавшая.

Фужер со сладкой розовой жидкостью, принесенный официантом, стоял перед ней, и она пила через соломинку и смотрела то в зеркало, то на дверь глазами, чуть подобревшими от сладкого напитка. Когда вошел Ник Брамем, даже официанту, молодому швейцарцу, стало ясно, что между ними какие-то отношения. Ник неуклюже одернул одежду, провел рукой по волосам и, волнуясь, сел за столик, готовый к терзаниям. Она посмотрела на него и принялась смеяться; смеялась... смеялась... смеялась... Молодой официант-швейцарец, который стоял у колонны, скрестив ноги, тоже рассмеялся.

Открылась дверь; ворвался рев Риджент-стрит; рев машин, равнодушный, безжалостный, и солнечный свет, пропитавшийся грязью. Официанту-швейцарцу пришлось уйти обслуживать новых посетителей. Брамем поднял бокал.

— Похож на Джейкоба, — сказала Флоринда, всматриваясь в только что вошедшего человека.

— Что-то во взгляде. — Она перестала смеяться.

Джейкоб, склонившись, рисовал на пыльной земле Гайд-парка план Парфенона, вернее, это была сеть черточек, которая, может быть, изображала Парфенон, а может, напротив, математический график. А для чего в углу так выразительно торчал камешек? Он вытащил из кармана ворох бумаг, но деньги пересчитывать не стал, а погрузился в чтение длинного, текучего письма, два дня тому назад написанного Сандрой, которая сидела у себя в Мильтон-Дауэр-хаус, держа в руках подаренную им книгу и вспоминая то, что было сказано, или то, что едва намечалось, какое-то мгновение в темноте по дороге в Акрополь, из тех, что останется (таково было ее глубокое убеждение) важным навсегда.

«Он похож, — размышляла она, — на этого мольеровского героя».

Она хотела сказать на Альцеста. Она хотела сказать, что он суров. Она хотела сказать, что смогла бы его обманывать.

«Или не смогла бы? — задумалась она, ставя стихи Донна обратно в книжный шкаф. — Для Джейкоба, — продолжала размышлять она, подходя к окну и глядя поверх усеянных цветами клумб за луг, туда, где под буками паслись пегие коровы, — для Джейкоба это было бы ударом».

Сквозь воротца в ограде въезжала детская коляска. Сандра послала воздушный поцелуй, и ручка Джимми, направляемая няней, помахала ей в ответ.

— Он просто маленький мальчик, — сказала она, думая о Джейкобе.

И при этом — Альцест?

— Как вы мне надоели! — рассердился Джейкоб, вытягивая сперва одну ногу, потом другую и роясь в карманах в поисках квиточка, удостоверяющего, что он уплатил за пользование стулом.

— Его, наверное, овцы съели, — произнес он. — Зачем у вас тут овцы?

— Прошу прощения, сэр, что побеспокоил, — отвечал контролер, держа руку в огромном мешке, наполненном пенсами.

— Надеюсь, что вам за это хотя бы платят, — сказал Джейкоб. — Вот, пожалуйста. Нет, не нужно, Оставьте себе. Можете выпить на эти деньги.

Он расстался с полукроной снисходительно, сочувственно, испытывая изрядное презрение к роду человеческому.

А бедная Фанни Элмер, идя по Стрэнду, как раз пыталась по мере сил осмыслить вот эту самую небрежную, равнодушную, возвышенную манеру разговаривать с кондукторами и носильщиками или с миссис Уайтхорн, когда та советовалась с ним по поводу сынишки, которого побил учитель.

Воображение Фанни, последние два месяца питавшееся исключительно открытками с видами, рисовало Джейкоба еще более величавым, благородным и безглазым, чем прежде. Чтобы видеть его яснее, она теперь ходила в Британский музей, где шла, опустив голову, до разбитой статуи Одиссея, там поднимала глаза и от присутствия Джейкоба заново испытывала потрясение, которого ей хватало на полдня. Но и это постепенно притуплялось. Еще она начала писать — стихи, письма, которые никогда не отправляла; видела его лицо на афишах, покрывающих заборы вокруг строительных площадок, и специально переходила дорогу, чтобы шарманка превратила ее мечтания в мелодию. Но за завтраком (она

снимала квартиру вместе с одной учительницей), когда масло было размазано по тарелке, а между зубьями вилки обнаружился застывший яичный желток, она в ярости перечеркивала все нарисованные картины; и впрямь, стала очень раздражительна; у нее испортился цвет лица — об этом твердила ей Марджери Джексон, которая (зашнуровывая свои огромные ботинки) относилась ко всему этому по-женски трезво, вульгарно и сентиментально, потому что тоже когда-то любила и вела себя как дура.

— О таком надо предупреждать при рождении, — сказала Фанни, разглядывая витрину Бэкона, продавца географических карт на Стрэнде. Предупреждать, что нечего сходить с ума, что такова жизнь, вот что следовало сказать, как говорила сейчас Фанни, рассматривая большой желтый глобус с обозначенными на нем паровыми линиями.

— Такова жизнь. Такова жизнь, — повторяла Фанни.

«Какое жесткое лицо, — подумала мисс Баррет, которая по ту сторону витрины собиралась купить карту Сирийской пустыни и нетерпеливо дожидалась, чтоб ее обслужили. — Как теперь девушки быстро старятся!»

Экватор расплылся в слезах.

— До Пиккадилли доедет? — спросила Фанни у кондуктора омнибуса, взбираясь наверх. И все-таки он обязательно, он непременно к ней вернется.

Но Джейкоб, наверное, думал в это время о Риме, об архитектуре, о юриспруденции и по-прежнему сидел в Гайд-парке под платаном.

Омнибус остановился у Чаринг-Кросс; за ним скопились другие омнибусы, фургоны, автомобили, потому что по Уайтхоллу проходила процессия со знаменами и пожилые люди чинно спускались между лапами отполированных львов^[30], оттуда, где они свидетельствовали преданность своей вере, громко пели и, отрывая глаза от нот, глядели на небо; к небу же были устремлены глаза и сейчас, когда они шли под золотыми буквами, выражающими их убеждения.

Транспорт остановился; и солнце, уже не остужаемое ветерком, стало почти невыносимо жарким. Но процессия прошла; знамена блеснули теперь далеко, в другом конце Уайтхолла; транспорт ожил, рванулся, возобновил ровный, непрерывный гул и, описав кривую по Кокспер-стрит, покатыл по Уайтхоллу мимо правительственных учреждений и конных статуй к острым шпильям, серой застывшей флотилии каменных зданий и большим белым часам Вестминстера.

Пять раз звучно пропел Биг Бен; Нельсон принял его приветствие. Провода Адмиралтейства содрогнулись от какой-то бегущей издалека

вести. Некий голос не переставая сообщал, что в рейхстаге состоялись выступления премьер-министров и наместников короля, что войска вошли в Лахор, что император путешествует, что в Милане восстание, извещал, что в Вене ходят слухи, докладывал, что посла в Константинополе принял султан, что флот находится сейчас в Гибралтаре. Этот голос все говорил и говорил, отпечатывая на лицах чиновников в учреждениях Уайтхолла (одним из них был Тимми Даррант) свою собственную неумолимую серьезность, а они слушали, расшифровывали, записывали его донесения. Накапливались бумаги, заполненные высказываниями кайзеров, статистикой по рисовым полям, недовольством сотен рабочих, готовящих мятежи на каких-нибудь задворках, или собирающихся на калькуттских базарах, или стягивающих силы к предгорьям Албании, где холмы песчаного цвета и где не хоронят мертвецов.

Голос был слышен в тихой квадратной комнате с массивными столами, где в одиночестве сидел пожилой человек и делал записи на полях отпечатанных листов, а его зонтик с серебряной ручкой стоял прислоненный к книжному шкафу.

Голова его — лысая, с красными прожилками, кажущаяся пустой внутри — была представительницей всех голов учреждения. Голова эта с любезными тусклыми глазами переносила бремя знания через улицу и выкладывала его перед коллегами, которые приходили с такой же ношей, а затем эти шестнадцать человек, поднимая перья или, может быть, несколько утомленно поворачиваясь в креслах, постановляли, что история должна пойти в ту или иную сторону, ибо они мужественно решили — это было написано на их лицах — внести какой-то порядок в дела раджей и кайзеров, и в волнения на базарах, и в тайные сходки крестьян в юбочках на албанских предгорьях, так явственно различимые с Уайтхолла, и управлять течением событий.

Питт и Чатам, Бёрк и Гладстон^[31] глядели из стороны в сторону застывшими, мраморными глазами, с тем видом бессмертного покоя, которому, наверное, завидовали живые, потому что воздух сотрясаясь от толчков и свиста, когда по Уайтхоллу проходила процессия со знаменами. Более того, некоторые из них страдали расстройством желудка, у одного в этот самый момент треснуло стекло в очках, другой завтра должен был выступать в Глазго, и в общем все они казались слишком красными, толстыми, бледными и худощавыми, чтобы подобно мраморным головам направлять ход истории.

Тимми Даррант в своей маленькой комнатке в Адмиралтействе,

собираясь справиться о чем-то в Синей книге^[32] застыл на секунду у окна, рассматривая плакат, прикрепленный к фонарному столбу.

Мисс Томас, машинистка, говорила своей приятельнице, что, если заседание Кабинета кончится еще не скоро, она не увидится со своим молодым человеком, который ждет ее у входа в «Гейети»^[33].

Тимми Даррант, вернувшись с Синей книгой под мышкой, увидел на углу кучку людей, собравшихся там с таким видом, будто один из них что-то знал, а остальные, сгрудившись вокруг, смотрели вверх, смотрели вниз, смотрели вдоль улицы. Что же это он такое знал?

Тимоти, разложив перед собой Синюю книгу, изучал бумагу, по которой пришел запрос из Министерства финансов. Мистер Кроли, чиновник, сидевший рядом с ним, наколот письмо на штырь.

Джейкоб поднялся со стула в Гайд-парке, разорвал в клочья квиточек и ушел.

«Такой закат, — писала миссис Фландерс Арчеру в Сингапур. — Невозможно решиться уйти в дом, — писала она. — Кажется преступлением упустить хоть секунду».

Длинные окна Кенсингтонского дворца ярко розовели, когда Джейкоб уходил из парка; стая диких уток пролетала над озером Серпантин, а деревья выступали на фоне неба, черные, величественные.

«Джейкоб, — писала миссис Фландерс, и красный отсвет ложился на страницу, — после своего чудесного путешествия снова принялся за работу».

«Кайзер, — сообщал в Уайтхолле далекий голос, — дал мне аудиенцию».

— Так, знакомое лицо... — сказал преподобный Эндрю Флloyd, выходя из магазина Картера на Пиккадилли. — Но кто бы это... — И он внимательно посмотрел на Джейкоба, обернулся, чтобы разглядеть как следует, но все же никак не мог...

— А, Джейкоб Фландерс! — осенило его.

Но до чего высокий, до чего погруженный в себя, до чего красивый молодой человек.

«Я подарил ему Байрона», — пробормотал Эндрю Флloyd и направился к Джейкобу, когда тот стал переходить улицу, но как-то заколебался, замешкался и упустил возможность.

Еще одна процессия, на сей раз без знамен, загораживала Лонг-Акр. Кареты с важными дамами в аметистах и господами с пятнышками

гвоздик, застрявшие экипажи и автомобили разворачивались и ехали в другую сторону, туда, куда брели утомленные люди в белых жилетах, направляющиеся домой, к скверам и бильярдным Патни и Уимблдона.

Две шарманки играли у края тротуара, и лошади, выходящие от Олдриджа^[34], с белыми наклейками на крупах, рванулись через дорогу, но их ловко оттянули назад.

Миссис Даррант, сидевшая в автомобиле рядом с мистером Уэртли, нервничала, что они пропустят увертюру.

Но мистер Уэртли, всегда галантный, ни разу в жизни не опоздавший к увертюре, застегнул перчатки и сделал комплимент мисс Кларе.

— Жалко проводить такой вечер в театре! — сказала миссис Даррант, увидев, как пылают окна в домах каретников на Лонг-Акре.

— А представьте себе ваши вересковые пустоши! — обратился к Кларе мистер Уэртли.

— Да, но Кларе здесь нравится больше, — рассмеялась миссис Даррант.

— Я не знаю, правда... — сказала Клара, глядя на пылающие стекла. Она вздрогнула.

Она увидела Джейкоба.

— Кто там? — резко спросила миссис Даррант, подавшись вперед.

Но она никого не увидела.

У сводчатого входа в Оперу все лица — крупные и худые, напудренные и бородатые — одинаково пламенели в лучах заката; и, приходя в возбуждение от огромных люстр с тусклым нежно-желтым светом, от топота ног, от алого цвета и нарядной толпы, некоторые дамы на секунду заглядывали в окна ближайших домов, откуда шел пар и высывались женщины с распущенными волосами и девушки... и дети... — в длинных зеркалах отражались застывшие фигуры дам, но надо было уже идти, нельзя же загораживать проход.

Кларины вересковые пустоши в самом деле были прекрасны. Финикийцы спали под горами серых камней; трубы старых шахт врезались в небо; первые мотыльки, садясь на колокольчики, сливались с ними; слышно было, как далеко внизу на дороге скрипят колеса телеги и море словно всасывает что-то и вздыхает — нежно, настойчиво, вечно.

Заслонив глаза рукой, миссис Паско стояла в огороде, где росла капуста, и глядела на море. Два парохода и парусник прошли навстречу друг другу и разошлись в стороны; чайки в заливе садились на бревно, взмывали вверх и опять опускались на бревно, а другие качались на волнах

или стояли у кромки воды, пока луна не отбелила все добела.

Миссис Паско давно ушла в дом.

Но на колоннах Парфенона еще лежал красный отсвет, и гречанки, которые вязали чулки, иногда подзывая детей, чтобы поискать у них в волосах, были веселы, как береговые ласточки в жаркий день, ссорились, ругались, кормили грудью младенцев, пока, наконец, корабли в Пирее не выстрелили из пушек.

Звук сперва распространялся ровно, а затем судорожными взрывами стал пробиваться в проливах между островами.

Темнота падает на Грецию как нож.

— Пушки? — спросила Бетти Фландерс спросонья, вылезая из постели и подходя к окну, окаймленному темными листьями.

«Не может быть на таком расстоянии, — подумала она. — Это море».

Снова она услышала глухой звук вдалеке, как будто женщины во тьме выбивали огромные ковры. Морти пропал без вести; Сибрук умер; сыновья ее сражались за родину. Но как там цыплята? Кто-то, кажется, ходит внизу? Опять у Ребекки зуб болит? Нет. Это женщины во тьме выбивают огромные ковры. На насесте тихо шевелились куры.

XIV

«Все оставил как было, — изумлялся Бонами. — Ничего не разобрал. Письма валяются повсюду, читайте кто хочет. На что он рассчитывал? Неужели думал, что вернется?» — размышлял он, стоя посредине комнаты Джейкоба.

У восемнадцатого века есть какое-то особое благородство. Эти дома были построены лет полтора назад. Комнаты приятной формы, высокие потолки, над дверью роза или баранья голова, вырезанные из дерева. Даже панели, покрашенные в малиновый цвет, выглядят благородно.

Бонами подобрал счет за охотничий хлыст.

— Этот, кажется, оплачен, — сказал он.

Лежали письма Сандры.

Миссис Даррант устраивала поездку в Гринвич.

Леди Роксбиер надеялась иметь удовольствие...

Воздух в пустой комнате неподвижен, лишь чуть надувает занавеску, цветы в кувшине подрагивают. Скрипит перекладина в плетеном кресле, хотя там никто не сидит.

Бонами подошел к окну. Почтовый фургон заворачивал за угол. На углу около Мюди застряли омнибусы. Стучали моторы, и возчики жали на тормоза, круто вздыбливая лошадей. Резкий несчастный голос выкрикивал что-то неразборчивое. И вдруг словно взметнулись все листья.

— Джейкоб! Джейкоб! — закричал Бонами, стоя у окна. Листья снова опустились.

— Всюду такой беспорядок! — воскликнула Бетти Фландерс, распахивая дверь спальни.

Бонами отвернулся от окна.

— Что мне делать с этим, мистер Бонами?

Она держала в руках старые ботинки Джейкоба.

Примечания

Популярная библиотека, выдававшая книги на дом; известна по имени своего основателя Чарльза Эдварда Мюди. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Как правило, в колледжах Кембриджа и Оксфорда несколько внутренних дворов, окруженных зданиями со всех сторон и имеющих четырехугольную форму. Большой двор и двор Невила входят в состав кембриджского Тринити-колледжа.

Томас Невил — глава Тринити-колледжа в XVI в., на средства которого возведен ряд построек колледжа, придавших ему нынешний вид.

Холл — обеденный зал для преподавателей и студентов колледжа, традиционно украшенный портретами самых знаменитых его питомцев. Холл Тринити-колледжа, самый большой в Кембридже, построен в XVI в.

Ньюнем — женский колледж Кембриджского университета, основанный в 1875 году.

«Адонаис» — поэма Шелли, посвященная памяти Китса.

Песенка из комедии Шекспира «Два веронца», акт IV, сц 2.

Уильям Купер (1731–1800) — английский поэт. Его переписка принадлежит к лучшим образцам английского эпистолярного стиля.

Олбани — фешенебельный дом на Пиккадилли, построенный в 1770 г. и в 1812-м превращенный в «апартаменты для холостых джентльменов». Обитателями Олбани были Байрон, Маколей, Гладстон, а в наше время Дж. Б. Пристли и Грэм Грин.

См. Псалтирь, 21, 13.

Речь идет о Круглом читальном зале в библиотеке Британского музея, оборудованном в 1857 г., когда над открытым внутренним двором Музея был возведен огромный купол.

Коллекция античных скульптур, вывезенных из Афин в 1903 г. графом Элгином.

Ричард Бентли (1662–1742) — ученый и критик, магистр Тринити-колледжа в Кембридже в 1699–1742 гг.

«Федр» — диалог Платона.

Сомерсет-хаус — Управление налоговых сборов.

«Лотарио» — роман Дизраэли (1870).

Большой концертный зал на Лестер-сквер (сейчас кинотеатр).

Район вблизи парка Хампстед-Хит в Лондоне.

Большой лондонский магазин преимущественно женской одежды на Пиккадилли-серкус.

Школа Слейда — художественное училище при Лондонском университете.

Генри Тонкс (1862–1937) и Филип Уилсон Сир (1860–1942) — английские художники.

«Цимбелин», акт V, сц. 5.

«Макбет», акт V, сц. 3. Перев. Б. Пастернака.

Пьер Луис (1870–1925) — французский писатель.

Граф Чатам (Уильям Питт-старший, 1706–1778); Уильям Питт-младший (1759–1806); Эдмунд Бёрк (1729–1797); Чарльз Джеймс Фокс (1749–1806) — английские государственные деятели.

Отец Дамьен (настоящее имя Джозеф Войстер, 1840–1888) — бельгийский католический священник, миссионер в колонии прокаженных в Молокае, на Гавайских островах.

Монумент — колонна, воздвигнутая в лондонском Сити в 1671–1677 гг. в память о Великом лондонском пожаре.

Выставка («Великая выставка») — первая международная промышленная выставка, организованная в 1851 г.

Статуя, установленная в Гайд-парке в честь герцога Веллингтонского.

Имеются в виду скульптуры львов у подножия колонны Нельсона на Трафальгарской площади, откуда начинается улица Уайтхолл, идущая к зданию парламента.

Уильям Юарт Гладстон (1809–1898) — английский государственный деятель.

Любой документ значительного объема, изданный с санкции парламента, например отчеты министерств и т. п.

Лондонский мюзик-холл.

«Конный рынок Олдриджа» — место, где с конца XVIII до начала XX в. продавали лошадей и давали напрокат экипажи.